

...Люди были раздражены в сердце и скрежетали зубами. А Стефан всмотрелся в небо и сказал:

– Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога!

Иаков, слышавший эти слова, горестно поджал губы. Сын Человеческий!

Безмозглая мать не учила Иисуса. Пока он был младенцем, лишь валялась с ним на неубранной постели, дни напролёт. И разговаривала с ним на голубином его языке, и блаженно слушала, как он гулит в ответ, и целовала его беспрестанно, лишь изредка поднимая голову, чтобы спросить:

– Ну, посмотрите, разве он не чудо?

На неё все в доме махнули рукой: что взять с дурочки.

А он рос, и всё давалось ему непозволительно легко. Любые умения, любые науки. Он уверенно спорил с учёными мужами, поражал беседами заезжих рабби.

Эта его неизбывная уверенность в себе! Это вечное высокомерие! Не задумываясь, отвечал на любой вопрос. «Господь, Отец мой, говорит во мне», – пояснял он брату.

Нам ли не знать, кто был его отец!

Но люди почему-то верили ему. Люди шли за ним, влюбляясь в него с первого взгляда. И слушали, как пророка. Он говорил увечному: «Иди!» – и увечный шёл. Он говорил слепому: «Прозрей!» – и слепой

видел. Откуда его власть? Уж не от глупой рыжей девочки, его матери, которая, как подсолнух лучи, ловила каждый вздох своего сыночка.

Он безбоязненно ходил по дорогам. В неистребимой своей самонадеянности полагая, что ни разбойник, ни зверь не тронут его. И люди уходили за ним, бросая свои дела.

Женщины обливали его ноги слезами, и отирали их волосами своими, и нежно целовали ему ноги и мазали миром. Никогда женщины не целовали ног ему, Иакову! А ведь он красивее брата.

Женщины служили Иисусу, а он и это принимал как должное. И в высокомерии своём прощал, будто он сам Господь.

«А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит».

Любовь, она не кончалась в нём, не кончалась в его речах!

«Как возлюбил меня Отец, так и Я вас возлюбил; пребудьте в любви Моей».

Он говорил, что пришёл вернуть в мир любовь, а сам умер позорной смертью, как тать, осрамившись пред всем Иерусалимом.

Но и в смерти ему повезло, как незаслуженно везло всю жизнь. Имя его передаётся из уст в уста, и люди почитают его за мессию.

Его, Иакова, мать ещё в чреве своём посвятила Богу. Он всегда жил праведно, а Иисус грешил против закона. Зато теперь он, Иаков, до самой смерти лишь «брат Господень», и не иначе! «А, – говорят про него люди, – это который брат Его?» Как глупо и несправедливо! Ведь не может какая-то любовь стоять выше закона и праведности.

Он, Иаков, всегда ступал степенно, а сейчас на один хороший шаг делает пять мелких. Его сбивают с шага – улица узкая, а люди устремились к воротам развлекаться убийством.

Люди, закричав громким голосом, единодушно устремились на Стефана. Выгнав его из города, они стали побивать его камнями. А свидетели сложили свою одежду у ног юноши, которого звали Савлом.

И побивали Стефана камнями, а он призывал Господа и говорил:
– Господь Иисус, прими мой дух!

Иаков не хотел смотреть дальше, он захотел вернуться в город. Но люди спешили ему навстречу, к месту казни, и толкали его, и влекли за собой, чуть не сбивая с ног.

– Жестоковыйные! – со смехом кричал им Стефан. – Чем гордитесь вы перед Богом? На хрен вам мудрость и милосердие Его, вам – с необрезанными ушами и сердцами!

Иакову больно ударили по лицу локтем, ему топтали ноги и рвали одежды, но он упорно протискивался прочь.

– Иаков! – заметил его Стефан, задорно крутя головой, чтобы видеть одним уцелевшим глазом. – Передать привет брату?

Но ответа не получил: Иаков уже забился в толпу.

«Закон и справедливость», – думал Савл.

Закон и справедливость торжествуют, и счастлив Савл своим служением им. Безумец Стефан преступил закон и возмутил людей. Справедливо, что его побивают камнями и забрасывают помётом животных. Жестокая, безобразная казнь, подобна забавам детским, шумным и беспощадным. Ей предан вид государственной процедуры, а суть неизменна – потеха черни и горе гонимому. Гонимый получил по заслугам. Справедливо, что ему, Савлу, благочестивому и благонравному, – почёт, а Стефану – помёт.

– Ты! – крикнул казнимый Савлу. – Пустозвон! Кимвал звучащий, медь звенящая!

Пустозвон? Так звала его мать шёпотом, склоняя лицо своё над работой. Так дразнили Савла мальчишки-сверстники, кидаясь грязью, гоня по единственной улочке Тарсы. Так выругалась блудница, жирная и неопрятная, когда он, аскет и избранник божий, отверг её покупные искусства.

Пустозвон! Он достойно отвечал в суде на кощунства Стефановой речи. Слова его, фарисея Савла, будет передаваться в народе и послужит потомкам наукой. Он избран Господом отстаивать закон пред неразумными. А этот жалкий фанатик из зависти пачкал язык. Кимвал звучащий, медь звенящая – пустозвон!

Савл кинул камень, не целясь, дыша обидой и гневом. Потом ещё и вскоре кричал с толпой единый бессмысленный вопль ликования травли.

Стефан рухнул на колени, обливаясь кровью, захлёбываясь кровью, истекая кровью на камни. «Господь, не вмени им греха, детям своим», – попросил он, увидев Бога.

А Савл одобрял его убийство. А толпа возмутилась, что потехе уже конец. И в тот день произошло большое гонение на церковь, которая была в Иерусалиме. Евреи пошли громить христиан, евреев.

Глава первая

Страшный Суд всё не наступал, и назореи покуда судились друг с другом.

Евреи, члены иерусалимской назорейской общины, рядились с эллинистами, евреями членами иерусалимской назорейской общины, вернувшись из греческих земель в святой город. Те, дескать, распустились в своих элладах, подзабыли отцовский закон, без которого еврей – не еврей, а презренный язычник и кал пёсий.

Эллинисты же смеялись над иерусалимским птичником да посмащивали, как бы их правоверные собратья, эти голубки надутые, в скаредности своей не склюнули лишнего. «Всё твоё – это моё, и всё моё – тоже моё», – вот тебе и общность имущества. Голубки кроткие, а клювом не щёлкают: нет-нет да подгребут под себя сладкого сору. Не вступишь Стефан за эллинистских вдов, где сейчас были бы те вдовы? Подошли на своих крохах? Смирение, милосердие на словах, а случись – растерзают, заклюют насмерть.

Где молитва, где служение слову – всё суета и злоба!

Хорошо Стефан разворошил курятник: раскудахтались назореи, выбрали семь человек следить за хлебом насущным. И отлично Стефан вёл все дела – не дурак, и деньгами привык ворочать, и за словом в карман не лез.

Но горе истинно праведному – протухло время, в котором живём! Господь медлит с судом, а синедрион скор на расправу. Доносчики шепчут молитву, а где умница Стефан, молодой, горячий? Валяется беззастенчивым трупом, скалится дерзко в безмятежное небо. Пусть себе мухи пируют, пока не засохла кровь да не спёкся вытекший глаз – справедливый Стефан и при жизни следил, чтобы все были сыты. Радуйтесь, мухи!

А убийцы его спешат по вечернему Иерусалиму за своим предводителем – молодым фарисеем по имени Савл.

Слушает топот их под своими окнами смиренный Иаков, брат Господень, глава назорейской общины.

После вечерней трапезы взялись за священные книги назорей-эллинисты, скорбя по Стефану, своему брату казнённому.

Горд и взволнован молодой фарисей по имени Савл. Сколько гоняли его по улицам родной Тарсы, сколько смеялись над ним! Не помогали ни деньги отца, ни добрая слава его благочестивой матери. А тут, в Иерусалиме, в городе Храма, в центре мира, он, Савл, сделал карьеру. Он учён, он постиг премудрости писаний и уважаем в синедрионе. А сейчас идёт очистить любимый город от скверны, разорить источник смуты, грозящий иудеям многими бедами. Не то дождутся эти евреи, говорящие по-гречески, довыступаются, навлекут на себя и на весь Иерусалим гнев неразборчивых римлян.

Сейчас его, Савла, сам Господь взял в руки свои. Да свершится божья кара над неразумными! Горди и взволнован молодой фарисей по имени Савл, он – меч разящий в руках Господних.

Невозмутим Иаков, брат Иисусов, в доме своём. Убийцы идут мимо его дома, идут расправиться с грешниками, усомнившимися в законе. Давно пора было вычистить с поля дурные травы, чтобы распрямились и вызревали злаки истинно праведных. Он, Иаков, на многие земли славен смирением своим. Не вкушает ни вина, ни мяса, не стрижёт волос, не натирается благовониями, блюдёт стыд всегда и повсюду. Он спасён от мирской суеты, сам Господь взял его, Иакова в руки и говорит с ним. Господь карает дерзких, а он, Иаков, невозмутим в доме своём.

Назорей-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его распятым, победившим смерть. Их жёны и сёстры молились тоже. Те, кто не был занят засыпающей малышкой. А кто был занят, тихо пели о любви, укачивая тяжёлых младенцев. Дети постарше засыпали кто где, хихикающими стайками, устраивая непременные потасовки из-за тонких шерстяных одеял. Трёхлетний Лука, первенец Филиппа и Марфы, свернувшись, как зародыш, в своём углу, изо всех сил сжимал глаза и шептал слова о добром боженьке, чтобы не бояться наступающей ночи. Белела под тёплым небом трёхэтажная инсула времён Великого Ирода, чернели в тёплой земле вкопанные кувшины с зерном, водой и маслом, упала роса на развешенное бельё, на детские качели, на посыпанные щебнем дорожки.

Горек был день, унёсший их брата, но он прошёл, и назорей-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его распятым, победившим смерть.

Убийцы Стефана – деловитые палачи синедриона и просто азартные добровольцы – ворвались в общину, крича и топая, чтобы казаться злее. Савл, меч разящий в руках Господа, дрогнул было, замешкался, не зная, с чего начать. Но его сподвижники уже хватили, вязали мужчин и женщин, отшвыривали детей, визжащих и плачущих. Потрошили кладовые и погреба, волокли в кучу драгоценные свитки. Худой чиновник сидел на стуле, невозмутимо сортировал арестованных, сверяясь с разложенным на коленях списком – сотни имён, итог многомесячной работы трудолюбивых доносчиков. Связанных уводили, убегающих ловили, над остальными глумились жестоко, распалившись от жара расправы.

И Савл свирепствовал вместе с другими. Он хотел быть холодным клинком справедливости, но уже полилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным по полу свиткам побежали первые ящерки пламени – жар охватывал всё.

Вскоре погромщики, хохоча и спотыкаясь, как пьяные, бежали в другие дома. Под тёплым небом пылала трёхэтажная инсула времён Великого Ирода. Вопили и рыдали истерзанные жертвы. Каталась по земле, выла безумная Марфа, мать трёхлетнего Луки, уже не слыша визга своего горящего сына. Растрёпанный Филипп упрямо баюкал голодную дочку. Ходил по двору, не обращая внимания на пожар и крики, баюкал грудную дочурку, пел ей о любви и спрашивал Господа: за что слепотой ты караешь детей своих, иудеев, граждан иерусалимских?

Несколько дней продолжались в Иерусалиме гонения на христиан-эллинистов. Кто успел, уехал прочь с домочадцами, животными и скарбом. Кто не успел, попал под суд синедриона и римлян.

Скорбели апостолы по своим грекоязычным братьям, посылали учеников навещать гонимых в темницах, прятали у себя осиротевших детей, молились за невинно убитых.

Молился, не вкушал ни вина, ни мяса, не стриг волос и не натирался благовониями в доме своём благочестивый Иаков.

Савл, меч разящий в руках господних, нелепый низкорослый юнец, кривоножка, заслужил похвалу синедриона и был отправлен агентом в Дамаск – выжечь и там назорейскую пакость.

...Путники остановились на отдых и ночлег. Наутро – один переход, и они будут в Дамаске ещё до пекла.

Здесь, у подножия холма, – хорошее место для привала, давнее излюбленное стойбище пастухов и торговцев. Безветренное, тенистое, но достаточно открытое, чтобы не слишком донимал гнус. Родник расчищен, заботливо обложен галькой; свежая вода удобно стекает по специально прилаженному обломку кувшина. В небольшой пещерке под корнями старого дерева аккуратной горкой сложена растопка...

Благословенное место.

Впрочем, Савл и его товарищи пока не нуждались в огне. Они расседлали ослов, разложили поклажу, набрали воды и достали свои немудрёные припасы: плотные жирные комки сыра, хрустящие хлебцы и свежие, по сезону, фрукты. Молодое розовое вино радостно полилось в чаши... Благословенная трапеза, степенные беседы.

Солнце ярилось где-то высоко над деревьями, от ручья тянуло прохладой, хорошо лежалось уставшим, легко говорилось под молодое вино.

То да сё, и разговор вышел на людей, способных принимать звериную личину. Всерьез никто из собеседников не верил в подобные превращения, но на этот счёт ходило много интересных и даже скабрёзных байк – так отчего не побалакать, пока не стемнело.

– Вздор, чушь египетская! – вскрикнул Савл, покраснев после очередной особенно сочной истории. Но его, мальчишку прыщавого, никто не слушал: каждый, отсмеявшись, спешил рассказать о своём и старался запомнить то, что рассказывали другие.

– Вот ещё, – начал очередной рассказчик. – Один колдун мог превращаться в кого угодно. А жена у него была лакомка, каких поискать. И очень ей нравилось, когда он начинал львом. Ну, понимаете, шкура там

какая-то особенная на ощупь, запах... Гриву ей нравилось трепать. Но главное в этом деле был язык! Якобы язык у льва... – Вдруг за деревьями раздался львиный рык, все вздрогнули, но сразу же рассмеялись – совпадению и своему испугу.

– Богомерзость, – бормотал Савл, против воли жадно желая услышать продолжение.

– А кончал-то он кем? – спросил наименее сдержанный из слушателей.

– погоди! – одёрнули его.

Рассказчик, утерев выступившие от смеха слёзы, снова раскрыл рот но вдруг закричал и повалился лицом на плащ, закрывая голову руками. Все как лежали, так и замерли в ужасе – к ним вышел огромный человек с львиной головой.

За ним – чёрный голый раб, ещё огромное, чем хозяин. Он бережно поставил на камни большой кувшин.

– Что орёшь, – пробормотал негр на хорошем греческом, – карлика разбудишь. – И он осторожно заглянул в глубину кувшина. Удовлетворённо кивнул: – Спит.

Тут подошли ещё люди, странные чужеземцы, явно варвары по облику. Один с косматой бородой, с пышным завязанным хвостом волос на макушке, свирепый, краснолицый, в одежде из шкур и кожи, обвешанный оружием. Другой, наоборот, – бритый, но с полоской воинственно торчащих волос на голове, с иссечённой шрамами рожей, одетый в лёгкие доспехи, грубый плащ, в руке – обоюдоострый топор. За ними ещё – дикие, страшные, заполнили поляну, явно не стесняясь прибывших ранее. Захлопотали по-хозяйски. Воздух наполнился резкой незнакомой речью, запахом зверинца, дыма, копчёной рыбы, ячменной браги. Бряцало оружие, поодаль громко, непристойно рассмеялась женщина.

– Заткнись, Хель! – крикнул, отвернувшись, негр. – Карлик спит.

Страшная баба высунулась из-за плеча волосатого варвара, нарезавшего на камне хлеб. Половина лица – сплошное фиолетовое пятно, ото лба до подбородка, вторая половина – красоты неопишуемой, яркой, свирепой. Круглые плечи, красивые руки, высокая грудь под шерстяным платьем, но в бесстыдные разрезы ниже пояса видно, что с ногами что-то не в порядке – чуть ли не голые изъеденные непонятной болезнью кости белеют среди юбок. Вокруг горла у бабы блестел металлический ошейник, цепь от которого прикрепили к дереву. Что не мешало ей хохотать и браниться с безумной яростью. Негр попытался урезонить неистовую тварь, заговорив на её языке, но тщетно. Тогда один из воинов просто ударил ей прямо в рот, с такой силой, что уродина отлетела к дереву, ударилась о ствол, сползла по нему, злобно визжа и гроыхая цепью.

Львиноголовый посмотрел на неё спокойно, она сразу замолчала, затихла, зарывшись в своё тряпье, закрыв лицо рыжими космами.

Богомерзость! Савл во все глаза смотрел на это адово скопище.

Впрочем, всё выглядело довольно мирно. Львиноголовый – его лицо действительно очень напоминало звериную морду – прилёг на плащ, отпил из кисло пахнущей плетёной бутылки. Негр, пожалуй, всё-таки не раб, приладил свой кувшин между камнями, улёгся рядом, положив щеку на тёплый валун. Остальные расположились группками, кто где, зачавкали, забулькали, не воздав даже хвалу господе за дары его.

Евреи, собрав припасы, сгрудились настороженной кучкой возле своих ослов.

– Ешьте, не стесняйтесь, – милостиво предложил человек с головой, похожей на львиную. – Вы нам не мешаете. – С евреями он заговорил по-арамейски.

Те неприязненно промолчали.

– Они брезгуют. Разве ты не знаешь их обычаев? – насмешливо спросил один из пришельцев. Он подошёл и сел рядом с львиноголовым.

Этот, подошедший, сильно отличался от своих товарищей: по лицу и по одежде видно, что местный, иудей, только ноги босы. Улыбнулся, достал из сумки большую сушеную рыбину и неторопливо, со вкусом принялся её разделывать.

В этой дикой ватаге был ещё один иудей. Но в виде непотребном совершенно: одежда порвана, весь в крови, в ссадинах, один глаз выбит и жутким месивом размазан по виску. Впрочем, этот вид и самому раненому был явно противен: он, став на колени перед ручьём, принялся смывать с себя грязь.

Чудны дела твои, Господи!

– Кто вы? – не удержался от вопроса Савл. И попытался говорить чуть любезнее. – Куда путь держите?

– Мы ищем клады, – вежливо ответил человек с львиной головой.

Вот как – гробокопатели! Разорители древних гробниц, которых множество в здешних пустынях. Ничейные люди и без бога в сердце, и без царя в голове. Слепцы, гоняющиеся за призрачным блеском золота.

– Что же ты отодвинулся, рабби? – весело спросил иудей, разделывающий рыбу.

Савл промолчал. Иудей, сдув с пальцев рыбью чешую, похлопал Савла по плечу.

– Ты – рабби, и я – рабби. Мы поймём друг друга. Будь доверчивее к миру, не жди от него зла, и мир ответит тебе добром. – У этого человека был нестерпимый галилейский акцент, и Савл не удержался от грубости.

– Уж не думаешь ли ты меня поучать? – Ещё чего не хватало! Его, уважаемого агента синедриона будет учить галилейский нищий, подрабатывающий проводником у язычников, да ещё не гнушающийся делить с ними трапезу!

– Что плохого в поисках кладов? – недоумённо спросил львиноголовый. Он стряхнул налетевший в белую гриву рыбий мусор, отхлебнул из своей бутылки и передал бутылку проводнику. Этот чужеземец один из всей ватаги был совсем без оружия, но очень уж велик ростом и почему-то казался опасным.

Савл, испугавшись, ответил:

– Клады не приносят счастья. Их закапывают под злое колдовство. Только хозяин, сильный чародей или блаженный недоумок может безбоязненно притронуться к кладу. Потому что для мудреца и для дурачка сокровища – просто побрякушки, без ценности и пользы. Над остальными клады имеют страшную власть.

– Наше ремесло трудное, – согласился гривастый. – Но не хуже прочих. При чём тут счастье, колдовство? Мы зарабатываем деньги, вот и всё. Какое же ремесло у тебя, сердитый?

– Я делаю палатки, – ответил Савл. Это было правдой, а о своей богоугодной миссии он предпочёл промолчать. Делать палатки, печь хлеб, обучать мудрости – работа полезная людям. А поиски кладов – пустая погоня за золотым тельцом. Суета ради обогащения – не ремесло.

– Дорого берёшь за палатки? – спросил, подойдя к ним, раненый, который отмылся в ручье и выглядел уже не так дико. Одноглазый удивительно походил на Стефана, казнённого назорея, и это было очень неприятно Савлу. Он буркнул:

– Обычную плату.

– Это хорошо, – сказал похожий на Стефана. – Хорошо, когда знаешь, сколько, чем и за что платишь. А я вот недавно отдал глаз и получил возможность видеть незримое.

«Безумец», – подумал Савл.

– Глаз за науку – это недорого, – белогривый что-то подсчитал в уме.

Все они безумцы. Два этих странных еврея, этот спящий негр со своим карликом в кувшине, этот урод со звериной башкой, не говоря уж о прочих – их слишком много. Савл решил не злить чужаков, рассмеялся через силу:

– Все мы гоняемся за кладами! Вы ищете их в песках, мы, евреи, роемся в древних черепках наших священных писаний.

– Вот и молодец, – обрадовался похожий на Стефана. – Выпей с нами!

«Сыну богоизбранного народа пить с язычниками?!» – подумал Савл.

– Что есть богоизбранность? – отхлебнув из бутылки, изрёк галилеянин. – Бог избирает и даёт многие дары. Ты, одарённый вдесятеро, лучше ли прочих? Нет, ты вдесятеро отвечаешь перед Господом своим. Пастуху, пасущему десять овец, больше хлопот и меньше праздности, чем пасущему одну овцу. Ему вдесятеро отвечать перед господином. Тебе, богоизбранному, предстоит много трудов, выпей с нами! До-станьте чашу.

– Ту самую? – уточнил одноглазый.

– Да.

Не выпить – страшно, выпить – противно. Савлу протянули тяжёлую чашу, налив туда тёмный варварский напиток. Со змеиным шипением поднялась из чаши белая пена, выползла на песок.

– Пей, – подбодрил галилеянин. – Хорошо пойдёт в жаркий-то день. – Разломил руками блестящий слиток рыбьей икры, половинку протянул Савлу.

Тот хлебнул – горько, не вино. Откусил – икра противная, едко солёная, липнет к зубам. Скорее отпил ещё, чтобы прополоскать рот. Горько.

– Так вкушаем мы горечь познания после соли наших печалей, – произнёс сумасшедший одноглазый еврей.

– Пить познание горько, – подтвердил проводник, – но от него становится легко душе и приятно телу. Пей, пей до конца.

Вот и всё. Савл содрогнулся – пустая чаша была вымазана чем-то чёрным, запёкшимся потёками по стенкам и намертво налипшим на дно.

Диковинная, тяжёлая гладкая чаша – два полушария, сросшихся макушками. Пенное варварское пойло. Горькое, тёмное – куда ему до сладких виноградных соков, до светлой солнечной крови горы Кармель! Никакого удовольствия от такого угощения, боже упаси выпить его вторично.

– Привыкнешь, – успокоил великан с головой зверя. Он затеял с проводником странную игру. Начертил прутиком на мокрому песке две невиданные буквы, между ними – точки. Галилеянин пристально всмотрелся в эти знаки.

– Эйваз? – спросил, подумав.

– Нет, – ответил львиноголовый и накарябал рядом вертикальную палочку.

– Отал, – предположил еврей.

Его соперник согласился и вписал вместо одной из точек ещё одну странную букву.

Потом галилеянин снова сказал неправильно. Вертикальную полоску на песке зачеркнула горизонтальная. Следующая буква мимо, и на рисунке появился кружок с глазками и ртом – голова. Ещё ошибка – туловище. Проводник никак не мог отгадать, какие буквы следует вписать вместо точек, и проиграл. Львиноголовый дорисовал человечка на кресте и радостно объявил:

– Распят!

Галилеянин, пожав плечами, стёр рисунок. Написал свои буквы.

– Отыграюсь. Давай, начинай.

– Ингуз! – воскликнул чужестранец с головой льва.

Его друзья рассмеялись.

Димас, старый никчёмный раб, то и дело как бы невзначай проходил мимо играющих. Этот разряженный суетный человек считал себя учёным, мудрецом, философом и любил, чтобы другие считали так же. Но сейчас он, позабыв всякое достоинство, кружил около чужеземцев, как любопытная шавка.

Наконец не выдержал и обратился к львиноголовому:

– Ты позволишь спросить, господин мой?

– Позволяю, – буркнул тот.

– Где выучился ты этим письменам?

– Нигде.

Чужеземец, пощипывая себя за ухо, раздумывал, какую следующую букву назвать, а Димас притворился обиженным. Но на него никто не обращал внимания, поэтому он спросил снова:

– Из какой ты страны, о, господин мой?

Чужеземец с досадливым недоумением уставился на жирного курчавого раба, будто вспоминая, что это и откуда. Старый грек вдруг испугался: неподвижное лицо его странного собеседника теперь уж слишком напоминало львиную морду, и смотрел он зверь зверем.

– Ну, допустим, из Асгарда. Ты доволен, червь?

Димас лъстиво рассмеялся:

– Извольте шутить, мой господин? Такой страны нет.

Чёрный гигант рядом пробормотал, не открывая глаз:

– Хочешь, я сделаю, чтобы тебя не было?

Смех Димаса стал тоньше и визгливее.

– Эй, это мой раб! – предостерегающе крикнул Савл, но его будто и не услышали.

– Я мог бы наказать тебя: отнять у тебя зрение, слух, способность к речи. – Грек, поверив, затрясся. – Но не могу, – закончил львиноголовый. – Поскольку у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего. Ступай, раб. – Повернулся к игравшему с ним иудею. – Этот дурак сбил меня, доиграем после?

Иудей усмехнулся:

– Всё равно тебе болтаться на Югдрасиле!

Савл, сердито оттолкнув потного Димаса, отошёл от лагеря по нужде. Чужаки за его спиной громко заговорили на непонятном языке.

У Савлова плаща вдруг оторвалась пряжка и звонко покати­лась по камням. Юноша побежал за ней, присел, стал шарить в траве, опёрся о нагретый солнцем валун. И тут земля, раз­верзшись, по­гло­тила его.

Холодный мёртвый воздух пещеры вернул Савлу сознание.

Везде, куда ему могла набиться земля, была земля. Он зашевелился, и новый земляной поток с мелкими и крупными камешками обрушился ему на голову. Фыркая и отплёвываясь, Савл яростно рванулся вперёд почувствовал ногами твёрдый пол, оглянулся, отряхиваясь.

Из провала над головой падал тусклый свет, освещая гладкие стены, тщательно выровненные до самого свода пещеры. На них явственно проступали древние рисунки, изображения коров, буйволов, оленей. На фризах начерчены какие-то каракули – косые и поперечные линии. Длинный ряд кувшинов у одной из стен тянулся далеко в темноту.

Прямо около ног Савла раскинулся обнажённый тонкокостный скелет, нижняя часть которого была отрублена по рёбра и отсутствовала. Чуть поодаль, чинно прижавшись друг к другу, вытянулись ещё скелеты: пяти детей и одной женщины. Эти были щедро разряжены. Золотые украшения ящерками поблёскивали там и тут среди мёртвых костей.

Савл, испуганно попятившись, споткнулся об один из кувшинов около стены. Тысячелетний сосуд медленно развалился, разрушая и соседний. Крошечный засохший трупик недельного младенца выпал на каменный пол. Его тут же прикрыло черепками второго кувшина, на которые выкатился точно такой же скорченный младенец, прикрывающий серую головку чёрными очень маленькими пальчиками. Нежный пух вековой плесени на хрупком остове сохранил трогательные очертания новорожденного ребёнка.

Кувшинов было очень много, и каждый мог от малейшего прикосновения разродиться истлевшим младенцем. Савл замер в ужасе, сдерживая дыхание, кощунственное в этом обиталище мёртвых.

Младенец на куче черепков съехал чуть ниже, лениво продолжая начатое движение, одна ручка его легко отвалилась, оставшись лежать отдельно. Трупик тут же утратил всякую трогательность, остановился, уткнувшись в глиняный обломок чётко различимой пробойной родничка на черепе. Перевернутое личико косилось беззубой челюстью, жутко смотрело в пустоту грустными овалами глазниц.

Несколько минут было очень тихо. Потом из темноты, из глубины пещеры слышались шаги.

– Прочь! – завизжал Савл. – Прочь! – завизжал тонко, как летучая мышь. Отступил, свалился тяжело на земляную кучу за спиной. Сверху обрушился большой пласт дёрна, и яркий свет пронизал взвесь поднимающейся пыли.

– Савл! Савл, почему ты гонишь меня? – спросил приятный голос совсем близко.

Агент синедриона узнал галилейский акцент странного иудея, пришедшего с чужестранцами. Зашевелился на куче, пытаясь встать. В глаза его набилась пыль, он никак не мог проморгаться, слёзы мешали ему видеть. Поставил неуклюже ногу, услышал, как хрустнули под сандалией тоненькие косточки, и закричал.

– Не бойся младенцев, Савл, – успокоил мягкий голос. – Это глупые древние люди принесли в жертву своих первенцев, живыми втиснули

в эти кувшины, головами вниз, как привыкли они, вызревая в утробе. Эти дети не накопили зла, не бойся их, Савл.

Но Савл очень боялся.

В непроницаемой темноте пещеры зазвучали деловитые голоса спутников галилейского рабби. Шум, шорох, забубнил на греческом негр, перечисляя найденные драгоценности. Кто-то споткнулся, выругался: «Ваальство!», его одёрнули.

– Вот ведь, – грустно продолжал голос проводника кладоискателей. – Иеремия и Иезекииль всё попрекали Ваала человеческими жертвами. Неужели они не читали книги? II и IV книги Моисея: «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота...» – голос бормотал цитаты из Писания, и Савл стал успокаиваться.

– Горе народу, который убивает своих младенцев, – в голосе послышался вздох. – Горе людям, когда они разучились передавать детям своим любовь. Дети благословенны, ибо они вызывают улыбки на наши лица и свет в наши души.

«Золотая налобная повязка, – диктовал негр, – восемь золотых, два серебряных и три бронзовых кольца, пять голубых жемчужин, серебряная пряжка...»

«Кто записывает за ним? Ведь так плохо видно», – встревожился Савл.

Голос львиноголового задумчиво произнес.

– «Тогда сказала Гиафлаг, сестра Гиуки: восемь для меня самое несчастное число на земле. Я потеряла не менее пяти мужей, двух дочерей, трёх сестёр и восемь братьев...»

Савлу опять стало жутко.

– Не бойся, – подбодрил голос галилеянина.

– Кто вы? – спросил Савл.

– Бессмертные, – получил он ответ.

– Боги?

– Боги? – задумчиво переспросил голос. – Не знаю, бессмертных часто называют богами.

– Почему?

– Они могущественнее, сильнее людей. А главное – они помогают преодолеть страх перед смертью.

– Скажи, разве можно не бояться смерти?

Голос тихо засмеялся.

– А что её бояться? – Позвал: – Хель! Поди сюда, Хель!

В темноте громыхнула цепь, кто-то свирепо засопел рядом. Ужас рванул из Савла горлом, не давая ни сглотнуть, ни вдохнуть.

– Не бойся, Павел, – голос назвал Савла его вторым, забытым, римским, именем; так называла его только тщеславная мать. – Не бойся! – ласковое дуновение прошло по лицу, заструилось по телу, вытапливая ужас. – Страх порождает злобу, злоба разъедает душу, искорёженные души забирает Хель. – Та всхрапнула жадно, всхотнула рядом.

– Не бойся! Не все попадают к Хель. Многие живут мирно, как травы и камни. Как деревья и звери. Они торгуются с богом, говоря: я тебе – жертву, ты мне – удачную жатву. Я тебе – хлеба, ты мне – урожай. Я тебе – крови, а ты убей моего врага. Они заключают сделку и спокойны, если соблюдают свои немудрёные правила.

– А смерть?

– Что им смерть, они живут, как травы, и высыхают, как травы, рассыпая вокруг себя семя и перегнивая в землю. Они – часть растительного мира, и он не отвергает их. Можно и так жить, Павел.

– Но можно... – возразил Павел, – ведь можно иначе?

Голос помедлил, усмехнулся. Возня, шаги в темноте, бряцанье золота клада и железа цепи отдалились – бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Можно просто стать равным богам.

– Кто ты, господин мой? – тихо спросил Павел.

– Я – Иисус, которого ты гонишь.

– Бог один, Иисус, – прошептал Павел. – Нет многих богов, Бог один.

– Да. Все мы едины в нём. Мы – часть тела его. Он – это мы и весь мир.

– Зачем ты пришёл, Иисус?

– Тело господа моего болит, оно изъязвлено злобой и гордыней людской. Я пришёл вернуть людям любовь.

А он, Савл, всегда хотел быть холодным клинком справедливости, но свирепствовал вместе с другими.

– Как мне убить в себе злобу? – с тоской спросил Павел.

– Понять, чего ты боишься.

«Лилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным по полу свиткам побежало пламя...» – зачем все это? Я боялся смуты, грозящей иудеям многими бедами. Что было делать с неразумными, дразнящими римлян?

– Прийти к ним с миром и добрым словом, Павел?

А как злобно крикнула блудница у языческого храма в Киликии: «Пустозвон!» Что её разозлило, чего боялась она? Того что стареют её прелести, падают в цене и скоро некому будет приласкать её? Он же, Савл, боялся уступить искушению, осквернить тело, одновременно боялся неловкости своей, своей неудачи и насмешки этой страшной женщины. Злобно оттолкнул её.

Я боялся насмешки.

– Что такое насмешка, Павел? – минутное дуновение воздуха, звук изо рта – не более.

Павлу стало легко, он рассмеялся. Тысячи кувшинов ответили ему гулким эхом, снова пугая его.

– Как же победить страх, господи?

– Если зол, остановись, оглянись, найди свой страх и посмотри ему в лицо. Посмотри: ты испугался костей, но ведь они не могут причинить тебе вреда. Ты испугался меня и гонишь, но посмотри – я ведь люблю тебя, Павел! Страх на поверку или слишком мал, или побеждаем любовью, которая сильнее страха и сильнее злобы.

– Я не знаю, что такое любовь.

– Возлюби ближнего, как самого себя.

– Я не люблю себя. Я не знаю, что такое любовь.

Ласковая рука погладила Павла по голове, взъерошила жёсткие волосы.

– Бедный засохший первенец, бедный мальчик, застрявший головой в кувшине! Твой кувшин разбит, иди. Ты узнаешь, что такое любовь.

Павел поверил, что Иисус любит его. Заплакал благодарно, встал с земли и пошёл в темноте, пока живой травяной воздух и тепло заходящего солнца не показало ему, что он уже на воле.

Но глаза его не видели ни трав, ни заката. Павел ослеп.

Глава вторая

Не видя дороги, Павел дошёл до своих спутников. Сел на камень. Сидел, слушал, улыбаясь.

Иудеи взволнованно обсуждали нашествие чужеземцев. После тех на утопанной поляне остался кислый запах зверинца, сложенные горкой под камнем рыбы остовы да несколько перьев, запененных пылью.

Заметили, наконец, пришедшего Павла. Весь в грязи, в ссадинах; земля – в волосах, в бороде, одежда порвана. Сидит на камне, улыбается, слушает.

Бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Спасибо тебе, Иешуа-бен-Пандера, – сказал гигант с львиной головой.

Впрочем, сейчас в его лице почти не осталось сходства со зверем. Он завязал на затылке белокурые волосы и надел чёрную повязку на один глаз.

– Спасибо, – повторил он. – Мы хорошо провели время на твоей земле.

– Ты нашёл, что искал? – спросил Иисус.

– Да. Теперь допишу свою поэму. Не хватало нескольких строк, и я нашёл их.

– Ты придумал название?

– «Эдда», – ответил белокурый поэт.

– А зачем ты закрыл глаз, Один? – улыбнулся Иисус.

– Мне понравился образ, – пояснил поэт. – Я тоже буду говорить всем, что отдал глаз за науку и мудрость.

– За возможность видеть незримое, – поправил Стефан.

– Пусть будет так, – согласился Один. – Прощайте. Пойдём, Хель! – Смерть застучала цепью.

– Спасибо тебе, Иешуа-бен-Пандера, – сказал чёрный гигант с кувшином в руках. – Мы тоже уходим. И мы забираем чашу.

Павел улыбался, слушал, неподвижно глядя на зашедшее солнце.

Его спутники встревожились.

– Савл, Савл, – тихонько позвали его.

Он не откликнулся.

– Савл! – его позвали снова.

Молчит, улыбается, не слышит.

Тронули за руку.

– Вы меня зовёте? – спросил Павел.

– Тебя.

– Зовите меня Павел.

Спутники не стали спорить.

– Что с тобой, господин? – озаботился Димас.

– Ангелы говорят со мной.

Евреи заволновались, зашептались. С праздничными лицами расселись возле Павла. Посидели, помолчали.

Молчал и Павел.

– Кто именно говорит с тобой? – не выдержал один из евреев, самый болтливый.

– Христос.

– Это который?

– Иисус назарянин, распятый три года назад в Иерусалиме.

Евреи удивлённо зашумели, зашелестели: «Иисус?.. Иисус... Тише, с ним говорит Христос!»

– А ты не падал, господин мой? – участливо спросил Димас и бережно смахнул пыль с края одежды своего хозяина.

Но, уже смахивая, понял, что поторопился. Евреи посмотрели на него неодобрительно, и он, вздохнув, отошёл.

– Ты слышишь Его сейчас? – спросили спутники Павла.

– Нет.

– Он ушёл?

– Не знаю.

«Тише, тише! – зашептали евреи. – Вы мешаєте ему слушать. Слушай, Павел!»

Павел сидел на камне, улыбался, слушал.

Просидел так всю недолгую ночь. Евреи вздремнули по очереди и утром отвели Павла в Дамаск.

Павел доверчиво шёл, держась за руку раба Димаса, грека. То и дело подносил другую, свободную, руку к глазам и счастливо смеялся оттого, что не видит её. Он помнил, что рука у него очень некрасивая: худая, жилистая, поросшая сверху неровным волосом, пальцы тонкие, шишковатые и морщинистые на сгибах. Павел шевелил пальцами – они легко слушались его – и счастливо смеялся.

Как мудр Господь, радовался Павел, что увёл раба своего от безобразия плоти! Глаза были его, Павла, привязью, не пускавшей на волю. Он видел небо, пески, холмы – и они закрывали от него Вселенную. Он видел города, храмы, книги – они закрывали от него Создателя. Он видел лица – бородавки, морщины, язвы, они закрывали от него людей. Он видел слюнявые пасти и не видел Слова. Он видел кривые с толстыми коленями ноги, тщедушное тело с мёртвыми оазисами пыльных волос, пористую прыщавую кожу, маленький коричневый пенис в буром серпике обрезанной плоти – он не видел себя, Павла. Павла, которого любит Господь.

Димас вёл его мимо пахучего стойбища рыбаков, и Павел был лёгкой бестелесной рыбой, сквозь пустые глазницы повешенной на солнце. Солнце грело сквозь него, ветер не задерживался в нём, пролетал, лаская вывернутое пустое чрево.

Димас подвёл его к городским воротам. Павел слышал, как кричали под стенами дерущиеся птицы и кричали на стенах сердитые люди – римляне строили крепость. Павел был камнем, надёжно вставленным между прочих, таких же. Спокойным тяжёлым камнем, теперь на столетия для него – только ветер. То холодный, утренний – с реки; то свирепый горячий – с пустыни. Высота, ветер и крики птиц – на века.

Господь песчинкой гнал его по дороге, пчелой по цветам, поднимал к облакам дымом от кипящей похлёбки. Не было глаз, закрывающих мир, а было слово Иисуса, открывшее мир: «Я люблю тебя, Павел».

Дамаск подхватил Павла разноязычным щебетанием, запахом многих тел и нагретой пыли. Придавил к земле, сбил с шага. Павел напряжённо вслушивался, различая знакомые наречия; вслушивался, ожидая услышать галилейский акцент Иисуса.

Первые три дня слепой Павел провёл в доме некоего Иуды, в переулке, который называется Прямой. Три дня он не ел и не пил. Ему очень нравилось, что плотское уничтожено для него.

«А в Дамаске был один ученик по имени Анания; и Господь в видении сказал ему:

– Анания!

И тот сказал:

– Вот я, Господь.

А господь ему:

– Встань и пойди в переулок, который называется «Прямой», и разыщи в доме Иуды тарсянина по имени Савл; который сейчас молится и увидел в видении, как человек по имени Анания вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел.

Но Анания ответил:

– Господь, я слышал от многих об этом человеке, сколько злого он сделал Твоим святым в Иерусалиме; и здесь он имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает Твоё имя.

Но Господь сказал ему:

– Иди, ибо этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести Моё имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля. Ибо я покажу ему, сколько он должен претерпеть за моё имя.

И Анания пошёл и вошёл в тот дом; и, возложив на него руки, сказал:

– Савл, брат, Господь послал меня – Иисус, явившийся тебе на дороге, которой ты шёл, – чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа», Деяния 9:10–17.

Павел уже ждал Ананию, ждал с печалью от того, что ему снова суждено видеть.

Сначала он не почувствовал разницы. Только тише стали гоготать гуси под окнами, тише стали шаги в доме и крики на улице. И уже не так вкусно пахло хлебом со двора. Потом глаза немного привыкли к свету, и в полумраке комнаты Павел заметил Ананию, такого же кряжистого, низкошеего, щекастого, как в недавнем видении.

Анания окрестил его водой из миски, которую держал в руках, поцеловал троекратно и сказал грубым голосом: «Давай-ка, поешь, а то ослаб совсем. – Поскольку Павел продолжал сидеть неподвижно, втиснул ему в рот кусочек хлеба, размоченного в воде. – Ешь!»

Павел начал есть, отяжелел, прошло ощущение невесомости и наслаждения бестелесностью. Вздохнув, он уснул, впервые почти за четверо суток.

Спал без снов и проснулся с удивительным ощущением всезнания и всепонимания. Будто все вопросы и все ответы заключались в нём; будто он весь мир впитал в ничтожную оболочку своего тела.

Но весь мир – это слишком много для одного Павла, и он поспешил в местную синагогу – делиться.

– Мир вам, иудеи, – сказал он. – Я брат ваш от семени Давидова, колена Вениаминова. Саул, тарсянин, посланный сюда синедрионом.

– И тебе мир, коли не шутишь, – ответили дамасские иудеи. – Мы слышали о тебе. Что скажешь, Саул, тарсянин?

– Откуда эта обезьяна? – брезгливо прошамкал стовосьмилетний старец в лисьей шапке.

– Агент синедриона, – вполголоса пояснили ему.

Старик недовольно промолчал, сжал высохший посох своей лапкой древней мумии.

Павел чувствовал, как много вложено в него, не знал, с чего начать делиться. Стоял, смотрел на евреев сияющими от любви глазами, маленький, неказистый.

– Братья, – начал, наконец, он. – По дороге в Дамаск я встретил пророка Иешуа-бен-Пандеру из Назарета.

– Вот как? – изумились слушатели. – Разве он жив? Разве не его казнили три года назад?

– Его казнили, – объяснил Павел. – Но он стал бессмертным и теперь хочет спасти нас.

– Спасти? От кого и от чего?

– Спасти нас от смерти, а Господа – от боли за нас.

– Почему он не цитирует Моисея? – обиделся стовосьмилетний старик в лисьей шапке.

Ему не ответили.

– Разве можно жить после того, как тебя казнили? – любопытствовали евреи.

– Если нам начертано умирать со смертью, зачем Господь вложил в нас тревожную душу? – вопросом на вопрос ответил Павел.

– Значат ли твои слова, что мы оживём после смерти?

– Не все, а только по суду Его.

– Что он там говорит? – сердился старец в лисьей шапке. Он очень плохо слышал.

– Говорит, что спаситель уже пришёл в мир, и что это Иешуа из Назарета, распятый три года назад.

– Ну и что? – пожал плечиками старец.

– Что ещё сказал тебе Иешуа? – спросили Павла.

– Он освободил меня от рабства страха, вдохнул дух сыновства, в котором восклицаю: «Авва, Отец!»

– Что он говорит? – сердился старец.

– Что он – сын божий.

– Господи, и этот туда же! Хватит, уже скучно, остановите его.

– Мы все – дети божьи, – с нежностью продолжал Павел. – Братья! Мы все вместе сбились с пути, все вместе пришли в негодность; нет никого, кто творит добро, нет ни одного. Нет праведного ни одного; нет никого, кто понимает; нет никого, кто ищет Бога.

– А теперь что говорит?

– Ругается. Бога, говорит, забыли.

– Он что, пьян?

– Иудеи! – продолжал Павел. – Вы опираетесь на закон и хвалитесь Богом, ничего не зная о нём. Уверены, что вы – поводыри для слепых, свет для тех, кто во тьме, а сами слепы. Вы – учителя младенцев, образы знаний и истины в законе – себя не учите?

– Да что он говорит там? – всё больше сердился старец. – Больно уж невнятно. И долго. Хватит! Он никому не даёт рта раскрыть.

– Из-за вас имя божье хулится среди язычников, как и написано. Вспомните о любви...

– Ну, хватит! – возмутился старик. Встал, решительно подошёл к Павлу, ткнул его палкой в грудь. – Проваливай-ка отсюда, трепло! Кимвал звенящий! Ты пьян, тебе вступило в голову – поди проспись, а не морочь порядочных людей.

Павел схватился за палку, больно упёршуюся ему в грудь. Старик выдернул палку, коротко дал Павлу по шее:

– Пошёл вон, собака!

– Не надо так, – вступился один стоящий рядом. – Всё-таки его прислал синедрион.

– И в синадрион напишу! – визгливо огрызнулся старик. – Пусть выбирают, кого посылать! Не могут Господу служить такие уродцы!

– Господь любит всех своих детей, – с обидой выкрикнул Павел. – И красивых, и хилых; умных, и глупых; и богатых, и бедных! Все имеют право на любовь его. А большое чадо больше жалеет отец.

– Он говорит: Бог любит ничтожных! – засмеялись евреи.

Слово за слово, и Павел разозлился страшно на собратьев, кричал, плакал, брызгал слюной, хватался за двери синагоги, откуда его с позором вытолкали. Дали ещё пинка напоследок так, что он ткнулся лицом в пыль.

И он сидел, плакал, развозя слёзы по щекам, как ребёнок.

– Ты не умеешь разговаривать с евреями, брат мой, – сказал голос над его головой. – Помнишь, ещё Исая говорил: «Целый день я простираю руки мои к народу непокорному и прекословящему».

– Они даже не выслушали меня! – выкрикнул Павел. – А я умею говорить, я много выступал в самом Иерусалиме, не в этом вашем Дамаске...

– Ты сразу взял неверный тон, брат мой, – ответили ему. Сильные руки помогли подняться.

Павел оказался перед человеком прелестной наружности: белозубым, улыбчивым. С аккуратной чёрной бородкой, с живыми приветливыми глазами.

– Меня зовут Варнава, – сказал человек. – Я крещён, как и ты. Мир тебе, Павел.

– Мир тебе, Варнава, – пробормотал Павел.

Варнава взял незадачливого проповедника под руку, повёл по улице.

– Так, значит, ты говорил с Иисусом? – спросил он.

– Да.

– Я верю тебе. – Варнава кивнул, довольный. – Ты слышишь мёртвых, это хорошо.

– Я познал языки человеческие и ангельские, – с достоинством подтвердил Павел.

– А любви не имеешь, – усмехнулся Варнава.

– Иисус любит меня, – насутился Павел.

Варнава дружелюбно посмотрел на него, низенького, побитого, грязного и заплаканного:

– А кого любишь ты, Павел?

Павел промолчал. Он не знал ответа.

Он шёл со своим новым спутником по пыльным, крикливым улицам Дамаска; пёстрою, многоцветною, грязною. Павлу стало очень жаль того потерянного города, в который он вошёл несколько дней назад. Павел закрыл глаза, тело сразу наполнилось лёгкостью, впустило в себя посвежевшие звуки, в желудок ударил запах кипящей похлёбки. Он спросил:

– Куда ты ведёшь меня?

– Братья собираются на трапезу, – ответил невидимый Варнава. – Они знают о тебе и хотят услышать тебя.

– Это наши братья варят курятину? – спросил голодный Павел.

– Нет, бетонщики, – засмеялся Варнава. – В Дамаске празднуют неделю холостых петушков.

– Поклоняются цыплятам? – удивился Павел и открыл глаза.

– Что ты, ничего подобного. Тут, как и везде, поклоняются умершим предкам.

– При чём тут предки? – Павел начал думать, что над ним смеются. – Языческие боги...

– Языческие боги, – подхватил Варнава, – обожествлённые предки. Кого ни спроси, тот ведёт свой род или от Геракла, или от Аполлона, или от самого Зевса. Многие мёртвые стали богами так давно, что весь народ у него в потомках. Народ чтит бога как отца, а тот – прошедший рубеж смерти, рубеж более высокого, чем земное, знания, – хранит своих детей. Прибавь сюда древнюю способность договариваться с духами растений, животных, скал и прочего – вот тебе и языческие верования.

– Язычники поклоняются истуканам, это всем известно.

– Путаешь, – Варнава мотнул головой. – Язычникам нравится лепить, резать из камня, рисовать тех, кого они любят. Они любят богов, красивых женщин и мальчиков, воинов, героев – они их и лепят, богов, женщин, героев. Всё божественно в мире, они радуются всему и стремятся запечатлеть свою радость – разве это плохо?

Павлу стало грустно. Ему понравился было этот встреченный Варнава, а он оказался провокатором и предателем. Одобрять идолов? Считать всё божественным? Особенно женщину – мерзость и пакость? Пусть Варнава не думает, что его, Павла, можно поймать, как мальчишку. Это здесь, в Дамаске, евреи забывают святыя заветы, а он-то прибыл из Иерусалима, его не проведёшь.

– Бог должен быть один, – печально произнёс Павел. – И это – невидимый, непознаваемый, вездесущий бог иудеев.

– Бог должен быть один, – обрадовался Варнава. – И царь должен быть один. И народ должен быть один. Сейчас много народов, у каждого – свой царь и бог, отсюда – войны. Много народов – у каждого свой язык, отсюда – непонимание. Но конец этих времён близок. Народы объединяются великим Римом, уже один император правит на громадной территории, один язык понятен почти везде. Дальше будет лучше. Теперь дело за единой верой. Империя сплотит тело народов, единая вера – их дух. Не будет войн, будет время и силы на созидание и радость.

«Не провокатор – безумец», – понял Павел. Безумец, путаник, трепло. И, конечно, порченный еврей. Горе, горе великому Израилю, если дети его сами отворачиваются от него. Дружат, едят с язычниками, смешивают семя – так приходит конец народу. Славит Рим! Симпатичный белозубый улыбчивый человек, а вот ведь – опасный мечтатель, и долг Павла – убить этого слепца.

Павел задумался, как поступить с Варнавой. Или тот всё-таки просто доносчик, смущающий людей разговорами, а потом отдающий собеседника властям? Вряд ли. Если доносчик, то не римлян. Синедриона? Те говорят по-другому. На патриота совсем не похож. Доложить о нём в Иерусалим?

– Сначала было Слово, – продолжал между тем Варнава, внимательно ступая по мощёной улице. – Что человек назовёт, то и выделяет для себя из хаоса, то и существует для него. Вера создаёт для человека мир, в котором ему удобно жить. К примеру, греки верят во многие небеса, что вращаются вокруг Земли и двигают планеты. Верят в небо неподвижных звёзд и богов, живущих на земле, на горе. Это их мир.

– Дяденька, – притворно запищал невесть откуда выскочивший мальчишка. – Дяденька, дай монетку! – Мальчишка схватил Варнаву за край одежды, задерживая. Попрошайка видел, что тот сейчас во власти

великих идей. А под шумок великих идей всегда хорошо клянчить по мелочи.

Павел хотел было дать нахалёнку по шее, но Варнава удержал его.

– Скажи мне, кто гасит звёзды? – спросил он мальчика.

Сорванец насупился: что этот чудак не знает таких простых вещей? Издевается?

– Понятное дело, птицы, – неохотно проворчал он.

– Что, птицы, по-твоему, могут долетать до звёзд? – не удержался от насмешки Павел.

«Вот дерёвня! – ещё более насмешливо подумал мальчик, но свой сарказм оставил при себе. – Приезжий. Неудивительно, что битый. Может, и вправду не знает, кто гасит звёзды».

– Долететь, конечно, не могут, – снисходительно пояснил ребёнок. – Но им и не надо. Ведь что такое звёзды? – Посмотрел на Павла. «И этого не знает. Точно – дерёвня!» – Звёзды – это души цветов, улетающие в небо, пока цветы спят. Утром, когда цветам пора просыпаться, птицы зовут звёзды обратно. Те слышат и возвращаются.

– Молодец, – Варнава дал мальчику монетку. Повернулся к Павлу. – Птицы действительно очень громко кричат по утрам, и звёзды действительно после этого гаснут. Попробуй докажи, что ребёнок неправ. Он знал это с младенчества, его родители и деда, и прадеды знали это – откуда ты знаешь, что это не так? – Павел молчал. Шёл за Варнавой, думал. – В мире всему можно дать объяснение, с любой точки зрения. И любая точка зрения будет истинной.

Поблизости громко закукарекали мужские дурашливые голоса – бетонщики праздновали. Ели, выпивали, смеялись. Отдыхали.

– Кстати, – вспомнил Павел, – ты мне так и не рассказал, что это за праздник холостых петушков.

– Очень целесообразный, как большинство религиозных праздников. Сейчас самая пора резать молодых петушков. Цыплята подросли: курочки скоро будут нестись, а петушков оставляют только на развод. Остальных – под нож. И в это же время поспевают многие овощи. Много овощей, много забитых петушат, вот и варят огромные котлы похлёбки, отъедаются люди, пируют, отдыхают. Посвящают цыплят своим богам-покровителям, каждая ремесленная община – своему.

Бетонщики зашумели вдруг возмущённо, вскочили с разложенных у котлов подстилок, бросились к своим песчаным кучам. За одной из куч, там, где стояли деревянные лотки с готовой смесью, орудовал чужак. Да ещё какой! Громадный негр, почти голый, торопливо нёс к ограде какой-то залепленный серой массой предмет. У ограды его поджидал большущий кувшин. Поднялась крышка, маленькие ручки высунулись на миг из кувшина, подхватили залепленный предмет, спрятались. Великан, закрыв кувшин, подхватил его на руки и побежал прочь. Тут же, как из-под земли, появились два страшных воина чудного вида и бросились в погоню за негром.

Бетонщики удивились, но, решив не портить себе праздник, вернулись к трапезе. Оно славно бы побегать, помахать кулаками, да только вид голого негра с кувшином и вид двух его преследователей не располагал к честной драке.

Павел с Варнавой, видевшие всё это, пошли дальше.

– Так вот, к вопросу о вере... – вернулся к разговору Варнава, и Павел вспомнил, что болтуна нужно убить.

Глава третья

– Почему мы так далеко ушли от своих? – спросил некстати Павел. Еврейский квартал кончился давным-давно, и вокруг брэнчал повозками, цокал копытами, свистел бичом и горланил в сотни глоток совсем чужой Дамаск.

Роскошный, неряшливый, суетливый Дамаск. Воздух противно гудит вездесущими мухами. Визг, толкотня, ругань. Даже ослики здесь не трогательно-степенные, как в Иерусалиме, а крикливые, злобные, так и норовят укусить. Их хозяева вопят друг на друга громче своих скотов, хватают друг друга за пёстрые тряпки, плюются в длинные бороды – никто не хочет уступать дорогу. Улочки узкие, чтобы не втиснулось солнце, тенистые, но душные от запаха многих тел, от запаха фруктовых, овощных и рыбных куч, сваленных вдоль домов прямо на грязные камни.

– Здесь, в Дамаске, мы не живём с евреями, – пояснил Варнава.

– Как же так? – удивился Павел

Его спутник рассмеялся.

– Или они не живут с нами.

– Что вы – не евреи? – Павел расстроился. – Все одного семени и одного бога?

– Все мы Адамова семени, разных народов чада – братья между собой, – возразил Варнава. – Сын божий вырос и живёт своим домом, почему бы и нет?

Крики вокруг стали громче; сначала – возмущённые, потом – льстивые. По улице промчались несколько всадников, хлопая плётками, сердитыми приказами расчищая дорогу. Брызнули из-под копыт фрукты, хлынули, прижимаясь к стенам, торговцы.

Вся эта суета поднялась из-за двух человек, степенно возвращающихся к себе домой верхом на своих лошадях. Эти двое были довольно молоды. Один – очень нарядный, ухоженный, с множеством драгоценных украшений везде, где только можно их нацепить. Он ехал на толстой белой кобыле, красивой, такой же разряженной, как её хозяин. Расшитый золотом плащ закутывал фигуру щеголя, скрывая даже кисти рук. Так носили плащи греческие учёные мужи, чтобы показать, что они не занимаются физическим трудом. Человек этот был светло-волос и с гладко выбритым лицом, по римской моде.

Второй – тоже без усов и бороды, но почти во всех остальных местах волосатый чрезвычайно. Смуглый, чернявый, темноглазый, одетый только в простую ослепительно белую тунику. Из украшений – лишь тонкий золотой обруч на голове, почти не заметный в густых лоснящихся кудрях. И лошадь под ним – скаковая.

Юношей сопровождали вооружённые воины.

Варнава отступил с дороги, а Павел не успел.

– Что разъявился, олух! – стражник, толкнув его конём, проскакал мимо, даже не озабочась проверить, отошёл зевака или нет.

Павла с утра уже достаточно толкали и унижали. И сейчас таким ничтожеством он был в глазах этих всадников, что оставалось одно – опять упасть в пыль и расплакаться.

– Не видишь, едет божественный Арета, величайший из великих! – наехал на него другой воин.

Упасть в пыль и расплакаться. Но Павел, выпрямившись во весь свой небольшой рост, крикнул злобно:

– Кто такой этот ваш Арета?

Стало очень тихо, только мухи продолжали гудеть.

– Я – царь, – пояснил юноша в белой тунике, останавливая лошадь.

Его спутники остановились тоже.

– Ну и что? – спросил Павел.

– Ты должен уступить мне дорогу, – спокойно ответил Арета.

– С какой это стати? – усмехнулся рассерженный Павел. – Все мы Адамова семени. Чем ты лучше меня?

– Хотя бы тем, – царь и бровью не повёл, – что у меня – деньги и власть, а ты нищ и бесправен.

– Над чем твоя власть? – неестественно взвизгнул Павел. – Над любовью, над рождением, над смертью? Как бы не так! А деньги!.. Деньги оказывают тебе плохую услугу. – Павел хихикнул. – Они создают тебе иллюзию всемогущества, а ты так же гол и беспомощен перед ликом Господним, как я.

Арета недоумённо пожал плечами.

– Любовь? Рождение? Смерть? Любую женщину я могу заставить полюбить себя. Да и так красивейшие женщины – мои. Они рожают мне малышей. – Он улыбнулся. – А у тебя есть женщина и малыш?

Павел промолчал.

– Что тогда ты понимаешь в рождении и любви? – Царь удивлённо поднял чёрные толстые брови. – А что касается смерти... Я могу велеть убить тебя, а ты меня – нет.

Арета чуть шевельнул пальцем, и тут же два воина, прыгнув с коней, жёстко схватили Павла за локти.

– Всё равно в смерти я сильнее тебя! – крикнул Павел. – Я бессмертен, а тебя съедят черви!

– Безумец, – усмехнулся Арета. – Всех съедят черви. Когда мы будем трупами, между нами не будет разницы, но я богаче тебя на жизнь, болтун! Убейте его.

«Господи, Иисусе! – взмолился несчастный Павел. – Господи, спаси и помоги. Не оставь меня в беде, Иисус, галилеянин! Не для того же ты заговорил со мной, чтобы позволить смерти забрать меня сейчас. Сейчас, когда я ещё ничего не успел сделать...»

Царь с усмешкой заглянул в настойчивые глаза наглого оборвыша, осмелившегося спорить с ним. Никто не верит, что смерть случится именно с ним. Всегда кажется: «Уж я-то останусь жить». Навсегда.

«...Господи, Иисусе!»

И уж подавно никто не верит, что смерть случится прямо сейчас, что время высыпает последние свои секунды.

Разряженный красавчик на белой кобыле весело рассмеялся.

– Нет, я его помилую, – сказал царь.

«Спасибо, Иисусе!»

– Но опасно поощрять дерзких, – добавил Арета. И кивнул воинам: – Выколите ему глаза!

Павел метнулся в ужасе, стражники крепче стиснули его локти. Он продолжал метаться, биться в живых железных тисках. Стражники держали. Красавчик смеялся. Арета удивлённо спросил:

– Чего же ты боишься, умник? Ты же бессмертен. Глаза по сравнению с бессмертием – такая мелочь, пустяк, два комочка слизи – не больше.

«Господи, не оставь меня!»

Один воин, продолжая держать Павла, достал кинжал и нацелился пленнику в левый глаз.

Павел отчаянно замотал головой.

Второй воин толкнул Павла, вывернул ему руку за спину, запрокинул ему голову, цепко схватив за волосы.

«Господи, Иисусе!»

– Стойте! – приказал Арета. – Не здесь. Ведите его во дворец. Этот случай надо использовать в назидание кое-кому из тех, кто тоже любит разевать рот и трепаться о равенстве.

– Прости, что вмешиваюсь, о повелитель, – обратился к царю начальник охраны. – Но этот человек – иудей. Если приговор немедленно не привести в исполнение, набежит толпа занудных старцев, будет ныть, канючить, просить за своего соплеменника...

– Принесут золото! – подхватил со смехом разряженный красавчик.

– Именно, – кивнул царь. – Пусть приносят, пусть канючат. Мы поторгуемся, у нас есть что взять взамен.

– Ты опять наделал долгов, противный? – кокетливо улыбнулся Арете юноша на белой кобыле.

– Да, – скривился царь. – Ты мне недёшево обходишься. Ведите преступника, – сказал он охране.

Павел брезгливо сплюнул, когда бречащая золотом кобыла пронесла мимо него своего разряженного седока. Держащие Павла воины сделали вид, что не заметили этого плевка. Тот, что постарше, перехватил поудобнее Павлов локоть, второй подвёл поближе своего коня.

Как только божественный Арета, величайший из великих, вместе со своим эскортом скрылся за поворотом, простые смертные подняли страшный гвалт.

Лица людей светятся ещё восторженным любопытством, ликованием – такое событие, такой счастливый случай! Им, мелким суетным людишкам, удалось подсмотреть несколько минут из жизни великих мира сего. Будет о чём поболтать и сегодня, и завтра, и через неделю. Да и спустя годы нет-нет да упомянешь в разговоре: «Ну, когда царь сидел совсем рядом со мной, буквально на расстоянии вытянутой руки...» Или: «Я помню Арету совсем юношей. Он тогда одевался по римской моде и очень скромно: простая белая туника, вроде моей, простые кожаные сандалии...»

Люди светятся ещё восторженным любопытством, но уже и обсуждают своего царя с особой фамильярностью, на которую обречены все знаменитости. Ворчат на него, как на последнего раба, собирая рассыпанные фрукты, складывая обратно рыбу. Да никакого раба не поносят так, не чихвостят жадно, как тех, кто у всех на слуху. И чем популярнее особа, тем приятнее обдать её презрением.

– «Красивейшие женщины...» – передразнивает рыбак. – «Красивейшие женщины мои», а сам-то... С этим...

– Во-во! Только красоток на него переводить!

Маленький старичок чуть не плачет, горячится:

– Как он сказал о детях! Как сказал о детях! Тепло, будто человек... А кто велел Лидии вытравить плод? А? Кто, скажите, граждане? Не Арета? Голубке, беляночке Лидии! И продал её потом римскому центуриону, как яловую ослицу продал, граждане...

– Да! – встрял визгливый голос. – А у Долмации отнял младенца и бросил псам!

– Не псам, а свиньям, – возразили ему.

– А я говорю – псам!

– Свиньям!

– Ты ничего не знаешь, так не разевай свою вонючую пасть!

– Ах, у меня вонючая пасть?! Да ты...

Воины, арестовавшие Павла, с отъездом хозяина тоже утратили профессиональную безмолвность. Расслабились, с удовольствием долго молчавших людей принялись перемывать косточки и Арете, и его свите.

Тот, что помоложе, перехватил Павла, подвёл к коню. Поскользнувшись на перезрелом апельсине, выругался грубо.

Павел дёрнулся изо всех сил, неожиданно для себя вырвался вдруг побежал отчаянно, спиной ожидая удара и неминуемой боли.

Бежал, боялся, долго, ничего не видя вокруг, не слыша ничего, кроме своего захлёбывающегося дыхания. Потом остановился, упал на спину, не видя ничего над собой, катался в пыли, царапая рвущуюся изнутри грудь, выл беззвучно сквозь зубы, растягивая горькие от пота губы.

Потом встал и пошёл медленно. Шёл, шатаясь, стискивая пальцами вздрагивающие виски.

Полдня петлял Павел по душным кривым дамасским улочкам, искал переулок Прямой. Спрашивал, замирал, заслышав бряцанье оружия и чёткий шаг римских легионеров. Те проходили по городу человек по восемь, спокойно, не подозревая о существовании Павла, не подозревая о его страхе.

Наконец, обессилевший и голодный, Павел добрался до дома Иуды.

– Мир тебе, – прошептал обрадованно. – Мир тебе, добрый Иуда!

– Мир тебе, – поцеловал Павла хозяин.

Отвёл глаза, начал теревить пальцы:

– Мир тебе, Павел, тарсянин. Доброго вечера. Только... – Иуда затоковал. – Прости, но старейшины велели, как придёшь, связать тебя и выдать Арете. Ты, мол, смутьян отчаянный, дерзишь, можешь навлечь на общину гнев властей. Закон и справедливость требуют твоей выдачи.

– Закон и справедливость? – горько переспросил Павел.

– Ну, в большей-то степени – начальник синагоги, – доверительно прошептал добряк Иуда. – С ним никто не спорит. Ему уже сто восемь лет, он потерял способность слушать. Короче... – он решительно схватил Павла за руку.

Тот умоляюще накрыл его руку своей:

– Иуда! – сказал жалобно.

– У меня дети. И жена на сносях. Они не отвечают за твой глупый язык, – проворчал Иуда, бледнея. – Это – твоя беда.

– Нет! – вскрикнул Павел. – Нет чужой беды! Мы – одно тело. Ударишь одного, больно всему миру. Спрячь меня, брат Иуда!

Дверь распахнулась от резкого удара снаружи. В дом вошли два воина дамасской стражи.

– Этот? – кивнули на Павла.

Тот так отпрянул испуганно, что толкнул Иуду. Испугался ещё больше и заметался по комнате.

Плоское тупое лицо одного стражника заиграло весельем, он захохотал нарочито громко и бросился ловить Павла. Он гонял свою жертву из угла в угол, подгоняя тычками, улюлюканьем, опрокидывал стулья и сметал со стола посуду. Останавливался на секунду, захлёбываясь самозабвенным смехом идиота, подпрыгивал, вскрикивал, пугая; по широкому раскрасневшемуся лицу потекли мутные слёзы.

Иуда тоже плакал, бормотал что-то, забившись в угол.

Второй стражник спокойно стоял в дверях: другого выхода из комнаты не было. Стоял, смотрел бесстрастно, как резвится его товарищ, молчал.

Первый не уставал смеяться, но вспотел, стал нетерпеливее и злее. Уже не в шутку лупил Павла древком копья, если бедолага не успевал увернуться. Наконец, враз посерьёзнев, прыгнул неожиданно ловко и почти схватил преступника. Цыкнул, развернулся, прыгнул снова.

Загнанный Павел, зажмурившись, ринулся в дверной проём, готовый погибнуть немедленно, только бы его не коснулись омерзительно потные ладони зловещего весельчака.

Второй стражник спокойно стоял в дверях. Повернулся неспешно, когда Павел пробежал мимо. Стоял, смотрел бесстрастно, как его товарищ с воплями погнался за беглецом по улице. Потом, пожав плечами, лениво зашагал следом.

Евреи затаились в своих домах, смотрели настороженно, как убегает из их спокойного квартала безумный тарсянин, агент синедриона, фарисей, обратившийся вдруг в христианство.

Они уже не увидели, как невеста откуда взявшийся негр, поставив на мостовую кувшин, который нёс на плече, сграбастал прыткого стражника, стукнул головой о стену. Отбросил брезгливо и зашагал прочь со своим кувшином, ведя за руку вконец ошалевшего Павла.

Второй стражник нашёл своего товарища, взвалил на спину и поволок в казармы.

Негр вёл Павла по уже знакомым тому местам. «Здесь, в Дамаске, мы не живём с евреями», – сказал когда-то приятный с виду человек по имени Варнава. Тогда Павел так и не дошёл до назорейской общины. Как хорошо, что она так далеко от еврейского квартала!

Павел невольно всхлипнул. Надо скорее убираться из Дамаска: евреи, раз уж решили, обязательно выдадут его властям.

– Теперь тебе надо скорее убираться из Дамаска, – пробасил негр. – Евреи обязательно выдадут тебя властям. Да и у нас с карликом пятки горят, за нами тоже погоня. Только вот какое дело: тебе придётся на время спрятать нашу чашу, у тебя её искать никто не будет.

– Куда спрятать? – растерянно спросил Павел.

– Это уж как тебе удобнее, – негр поставил на землю свой кувшин, постучал согнутым пальцем в крышку.

– Чего тебе? – проворчал из кувшина тоненький голосок.

– Чашу давай.

Павел принял чашу, бессмысленно разглядывая надпись на стене, нацарапанную по-гречески: «Это – Митра».

– Брехня, – усмехнулся негр и осколком кирпича подписал снизу: «Сам ты – Митра».

Так чаша осталась у Павла с единственным условием: не оставлять её на одном месте более недели.

Не было ни благочестивых бесед, ни степенной трапезы. Наспех зажжённый кусок хлеба с водой – и дрожащий от усталости Павел почти в полной темноте бредёт за Варнавой, который говорит что-то о родственнике Анании, служащем в когорте сирийских лучников. И сам Анания, короткошей, коренастый, пытит рядом, вздрагивая от малейшего шороха.

Темень, факелы, доброжелательный голос объясняет:

– Нет, братцы, ворота мы вам, конечно, не откроем. Но тут недалеко строящийся участок стены, переберётесь.

Темень, бесконечная шаткая лестница, узкая, деревянная. Усердный Варнава подталкивает снизу, подбадривает. Толстый Анания молча ползёт следом. Тот же доброжелательный голос, уже сверху, торопит:

– Давайте, давайте, пока не подошли клуши.

– «Клушами» сирийские лучники называют дамасских стражников, – успевает пояснять неунывающий Варнава, запыхавшийся от долгого подъёма. – Те украшают доспехи золочёнными крыльями и носят перья в шлемах, не по уставу.

– Клушами мы называем тех, кого топчут римские орлы! – гаркнул кто-то рядом.

– Эй, потише там насчёт римских орлов, – крикнул в ответ родственник Анании.

– Хотите разговаривать потише, подходите поближе, – рассмеялись в ответ.

Несколько белых перьев покачивались в нескольких локтях от встревоженных спутников Павла: отряд дамасской стражи проходил по внешней стене.

Родственник Анании и двое его товарищей по оружию с глумливым кудахтаньем прыгнули на стену.

Никто не верит в собственную смерть, она всегда случается с кем-то рядом.

Глава четвёртая

Это хуже смерти. Небытие. Огромные кровавые волны замерли под белым небом.

Под неподвижным небом ничтожные песчинки толкаются в недвижных песчаных волнах, отчего над пустыней неспешной песней тянется стон.

Небытие. Павел не был ещё этим калёным кровавым песком. Не был он и шакалом, подпевающим пустыне за дюной. Но и правоверным иудеем он уже тоже, конечно, не был. Закон остался далеко за песками. Там, где время делилось на дни, где люди могли праздновать субботу, ликовать на Пасху. Здесь же, в проклятом месте, нет времени, нет законов – ни человеческих, ни божьих. Только поющий красный песок и безмолвное белое небо.

Только кочевники-верблюжатники живут тут – где Павлу хуже смерти. Он не кочевник. Для них он – раб, скребущий верблюжью шкуру. Но Павел знал про себя, что он и не раб. Он – никто, потому что его Бог отвернулся от него. Он уже не человек, а животным быть не рождён.

Обида на Господа, возведшего было в пастухи и даровавшего паству, а потом сразу кинувшего в отупение рабства, обида – это немногое, что осталось в Павле от человека. И ещё – один сон, один-единственный.

...Плавно качаются носилки. Римский сановник с удовольствием смотрит на Павла. Приятно найти умного образованного собеседника, который делает дорогу нескучной. Плавно качается беседа – от одного к другому.

Павел пустился в дорогу на неудобной спине тряского мула в окружении простых солдат. Песчаные холмы вокруг, злое солнце в глазах, пыль в горле и жара повсюду – так скверно начинался путь. Но не

прошло и часа, как повеселевший мул бежал уже без седока, а маленький настороженный иудей плавно качался в носилках римского легата – избранный Богом всегда избираем и прочими.

Удобные носилки, сделанные на совесть из отличного дерева и практичных тканей, – квадратик великой империи на песчаном пейзаже. Кусочек цивилизации в этом диком крае. За ним – строгие улицы каменных многоэтажек, широкие площади и прекрасные храмы. Прямые мощёные дороги, извилины водопроводов, комфортабельные лактрены и бани.

– Сортир, он и есть сортир, – осмелев, разговорился Павел. – Если Господь повелел людям справлять нужду, так и будет. А происходит сие в кустах у дороги, за дощатой загородкой или в роскошной каменной комнате – нет в том никакой разницы. Все эти полы с подогревом, смывание водой – лишь суета, человека недостойная.

– Не соглашусь с вами, любезный, – отвечал легат. – Все удобства, все инженерные чудеса, созданные человеком, возвышают его достоинство. Освобождают время для полезных измышлений и новых изобретений.

– Человек наполняет свою жизнь заботой о своём теле, забывая о Боге, заключённом в нём. Жизнь кажется полной чашей, и человек пьёт её день за днём, не чувствуя жажды. Но на самом деле не человек пьёт жизнь, а жизнь пьёт человека. И когда выпивает до конца, о теле уже заботятся черви. Суетой заглушаем жажду, но она остаётся в нас и сжигает душу, рождённую для бессмертия.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Но приятный сон всегда заканчивается одинаково – свист огромных крыльев и страшный удар клювом в голову, в плечи. Павел успевае замечить круглый безучастный орлиный глаз, после чего всегда просыпается. Лицом на вонючей верблюжьей шкуре или прямо на песке. И надо успеть подняться, пока араб-дрессировщик не стукнул его палкой снова.

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой сейчас. Ему, сыну палаточника, ремесло отца казалось трудным – с детских лет руки не знали ничего тяжелее палочки для письма. И вот он усердно скребёт грубую шкуру плоско сколотым камнем, как дикарь. Нет, дикари брезгуют этой работой, как и всякой прочей – для работы есть рабы и верблюды. Он, римский гражданин, ползает тут на коленях, а где же его прекрасная империя? Прохладные мраморные виллы, строгие улицы каменных многоэтажек, широкие площади и прекрасные храмы – просто мираж среди проклятых красных песков.

Да и была ли она, империя? Нет, это просто сон, просто рассказ стареющего римского легата.

– Империя – это величайшее изобретение человечества, – говорил он. – Идеальная среда обитания. Империя впитывает в себя всё лучшее от своих народов и распространяет на всех. Она – как единый организм. Заболит один орган, силы всего организма направлены на выздоровление. А может ли жить отдельно печень или лёгкие? Нет. И счастливейшая эра человечества наступит тогда, когда все народы объединятся в один. Прекратятся войны, закончатся разногласия. Все будут слаженно трудиться на общее процветание.

– Люди могут быть едины и счастливы только в едином Боге, – не соглашается Павел. – Не может быть одного народа при разнuzданном римском многобожии. И потом, вы, римляне, так кичитесь перед прочими...

Они не спорили – два мудреца, старый и молодой. Оба были обучены разговору, потому через равные промежутки времени просто давали друг другу высказать умную мысль.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Качаются носилки.

Снаружи – песчаные холмы, злое солнце, жара и пыль на штандарте с имперской птицей.

Легат заговорил о своём поместье, о какой-то дивной инженерной работе.

Павел хочет уточнить, но ему мешает огромный орёл. Круглый безучастный глаз совсем близко. Можно попытаться спрятаться, упав лицом в песок, но твёрдый клюв уже разбивает голову. Араб-дрессировщик не даёт дремать...

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой. Но он скребёт сухую верблюжью шкуру и смотрит на живого верблюда, который со звериной серьёзностью валит кучу чуть не под нос Павлу.

Человек может смеяться, животное – нет. Единственное ли это отличие? Отличие ли это вообще? Гиена смеётся тоже. Чем человек отличается от животного, думает Павел, глядя на верблюда. И тот и другой ест, и тот и другой совершает обратный процесс и заботится о продолжении рода. Но человек закапывает свой помёт, а верблюд – нет. Но верблюжий помёт полезен – им поддерживают огонь, а человеческий непригоден в дело. И кошки, любимицы египтян, закапывают помёт, как люди. Нет, это не показатель...

Павел не успел вроде ни слова сказать легату, а орёл уже тут как тут – и боль в голове такая, что не слышно собственного крика.

Араб-дрессировщик верблюдов тоже думает: чем человек отличается от животного? И быстро находит ответ: верблюд понимает палку, а человек – нет. Верблюд умён и прекрасен, а ему, Лухкаду, приходится возиться с этим полудохлым рабом. Его бьёшь, он орёт, падает в песок, катается, скребёт себя руками, но делает по-своему. Делает плохо и засыпает, сколько его ни бей.

Его не нужно было везти в пустыню. Но командир боевого отряда решил, что этот плугавец – важная персона, выгодный пленник. Его обнаружили уже после стычки, когда все римские солдаты были перебиты и добыча свалена в кучу. Перевернули носилки, и коротышка вывалился из них сомлевшей жабой. Ничтожная мразь! Хуже любого животного и не человек. Для такого даже жалко палки.

Палка – отличный учитель. Она выучила Лухкада главному, чем он в себе гордился, – справедливости. Каждый должен получать по заслугам – это закон, на который опирается жизнь. И главный закон смерти.

Обида на господу не давала Павлу совсем умереть. Его, отмеченного учением и разумностью, его, говорящего языками человеческими и ангельскими, – в скотский бессмысленный труд? В подчинение бездумному дикарю?

Бездумному дикарю противно и палку пачкать об этого кишечного червя. Ему, сыну гордого народа, валандаться с нечистым? Нечистый всё равно сдохнет. Все они подышают тут – где живут только избранные. Велик человек-земля, много паразитов ползают по нему, но только гордый народ Бани Адам может жить в горле человека-земли. Горло – священное место, тут рождается Слово, тут рождается песня.

Лухкад не всегда жил среди этих красных холмов. Но он – сын племени Бани Адам. Сколько он себя помнит, его тянуло сюда, ведь в нём звучит песня. Такая же неспешная и тоскливая, как песнь этих непод-

вижных песков. В нём клокочет такой же неистовый ветер, как тот, что бушует в горле Адама-земли, когда Адам-земля говорит. И какой счастливый страх сотрясает Лухкада, когда человеку-земле приходится кашлянуть и страшные вихри сметают всё живое и неживое. Конечно, он – сын гордого племени, люди которого поклоняются только звёздам и о помощи просят только предков. Остальных заставляют работать на себя палкой и плетью.

Станный араб. Павел не мог думать о нём, не мог видеть своего мучителя за спиной, но Павел знал – араб странный. В его серо-голубых глазах ветер всё время гоняет тучи. Как непонятны эти тучи под чистым белым небом!

Белое небо чуть качнулось в такт носилкам, безучастный круглый орлиный глаз, крепкий клюв – совсем близко! Араб только замахнулся, а Павел уже успел открыть глаза. Дрессировщик опустил палку – неужели червяк не безнадёжен?

Но, очнувшись на пару скребков по шкуре, пленник повалился в беспамятстве. Он всё равно сдохнет, на него не стоит тратить еду и воду. И то и другое – ценность.

«Раб – тоже ценность, – сказал старейшина. – Если выживет, пусть служит богу».

Так бывший иудей Павел начал служить богу.

Люди племени Бани Адам поклонялись только звёздам и о помощи просили только предков, но и с богами ссориться не желали. Многие боги были страшны и могли причинить вред, но особенно опасен и злобен Хембешай – похититель младенцев. Чем задобрить такого бога? Что предложить ему вместо младенцев, ему – не признающему иной пищи? В незапамятные времена мудрецы племени Бани Адам нашли выход. Трудно ублажить Ужасного и Незримого, а его человеческое воплощение – вполне по силам. Для воплощения выбирался прекрасный из юношей – чтобы Великому Хембешаю было необходимо и приятно в человеческом теле. Избранный в течение года ни в чём не знал отказа. А через год полюбившееся тело отдавали Хембешаю насовсем, чтобы тот всё-таки мог напиться крови. Ведь боги тоже любят кровь, почти как люди. Правда, людям достаточно сделать надрез на ноге верблюда, чтобы кровью наполнить чашу. И человек напьётся, и верблюду на пользу. А богу не хватит малости, он выпивает жертву до дна. Павла...

.....

Павел отслужил богу, так подумали люди племени Бани Адам, – проклятая лихорадка совсем свалила его, и он, обессиленный, повалился лицом в песок.

Лухкад хотел поднять его.

– Оставь раба, лекарь, – сказали соплеменники. – Оставь, его оплачут и похоронят добрые шакалы.

Глава пятая

Но добрые шакалы не приходили. Павел остался совсем один.

Люди, животные – все оставили его вслед за Богом.

И жизнь оставила его. А смерть никак не приходила – Павел остался совсем один.

Он был счастлив. Потому, что жизнь оставила его вместе с болью, а есть ли на свете большее счастье, чем отступление боли?

Павел был счастлив, в нем не осталось ни боли, ни голода, ни страха. Он просто лежал и смотрел вверх.

Сначала вверху ничего не было. Даже луны. Потом появилась одна звезда. Потом высыпало сразу очень много звезд, и это было красиво.

Когда небо наполнилось кровью, звезды смыло красным. Потом кровь впиталась в высь, ослепительно белую, и это тоже было красиво.

Все происходило безо всякого участия Павла: ночь сменяла день, и день сменял ночь, начала расти луна, а Павел просто лежал на песке. И был счастлив. Потому что, когда ушли боль, голод и страх, стало свободно любви. Она не теснилась больше на дне сердца, она жила в Павле, и значит, Господь не оставил его. Господь был занят сменой дня и ночи, но помнил о Павле и любил его.

Потом Павел почувствовал холод. Очень сильным холодом жгло щеку, но Павел не мог увидеть, что это, так как на небе снова была ночь.

На рассвете Павел чуть повернул голову и увидел безучастную бетонную рожу – залепленную чашу. Когда кочевники отправились в путь, они оставили ее умирающему Павлу, думая, что это – его бог.

Когда Павел увидел чашу, покой оставил его. Он вспомнил Лухкада и свою жалость к нему. Добрый Лухкад: он не боится ни голода, ни боли. Но тот, кто суров к себе, не знает жалости к другим. В нем нет страха, но любви в нем нет тоже, потому что он справедлив. Справедливость не терпит милосердия и любви, а без любви нет Бога.

Дивный народ Лухкада: спокойные несуетные люди, неприхотливые в пище и одежде. Они довольны обыденным и соблюдают порядок в своей жизни. Добрые люди, называющие и себя, и животных – детьми человеческими. Мудрые люди, понимающие свое место в мире и соблюдающие общий порядок. Они не хотят лишнего, но их рабы заботой о насущном заполняют все время между утренней зарей и вечерней, а сами они лишь переходят из небытия ночи к небытию дня. Потому, что нет в их жизни любви, а без любви нет Бога.

Жалость нестерпимо жгла Павла, лишив его покоя и счастья. Он понял, что не может больше лежать тут, что он должен найти кочевников и помочь им.

Павел попробовал встать хотя бы на четвереньки, и это ему удалось. Ему было странно чувствовать свои руки и ноги, ощущать песок под ладонями, но он мог ползти и пополз. Тяжелую чашу он толкал перед собой, и она отвлекала его от смены ночи дня и ночи.

Он полз на четвереньках, потом понял, что идти гораздо легче, встал и пошёл. Шёл и не думал, откуда взялись силы? Что вело его? Каменная чаша давила на плечо, с каждым шагом становясь всё тяжелей.

Покой и счастье вернулись к Павлу, ведь Господь вёл его.

Он шёл много ночей и дней. Спал на тёплом песке, а когда песок остывал под ним, вставал и шёл дальше. Он уже забыл, как это: хотеть пить и есть, и от этого тоже был счастлив.

Павел уже не хотел выбросить чашу. Он понимал, что этот предмет непонятным образом поддерживает в нём силы. Прохладная в любой зной, пустая чаша кормила и поила Павла, и он шёл всё дальше и дальше по невидимым следам племени Бани Адам.

Небо над ним жило своей жизнью, песок под его ногами – своей, а Павел всё шёл и шёл. И не думал ни о чём. Он не думал больше ни о Боге, ни о себе, не заботился о дороге. Дороги и не было – только пес-

чинки, недовольно шуршащие, когда на них наступали. Они то лежали спокойно, то вдруг спохватывались и кучками спешили в другое место. Другое, хотя и ничем не отличное от первого. Песчинки торопливо затирали следы Павла, стараясь восстановить им одним ведомый порядок. А Павел шёл, слушал и удивлялся.

Удивительным образом он стал вдруг понимать языки всех предметов и тварей вокруг себя, отчего пустыня для него сразу наполнилась жизнью. В этих языках не было слов, но была соразмерность. Мысли и слова перестали ограничивать Павла, и он услышал каждую песчинку, каждую чахлую травинку, каждую букашку под камнем. Небо вдруг перестало жить своей жизнью, а песок – своей. Всё сущее жило одной жизнью, и Павел шёл в ней, спокойный, как младенец. То Луна, то Солнце бережно сопровождали его, а он улыбался им в ответ.

Потом появился ещё один попутчик. В пересохшем оазисе Павел выковырял из песка полудохлую безумную ящерицу и понёс вместе с бесформенной чашей. Через сутки они смогли беседовать, и ящерица рассказала ему, как погибал оазис. Иссяк источник, и вместо воды по жилам растений растёкся жар. Те животные, что никогда не трогали себе подобных, наедались горящей травы и мучились меньше, чем те, что поедали их торопливо, стараясь скорее выпить быстро чернеющую кровь. Те, кровожадные, потом ещё жили несколько дней, судорожно клацая зубами по пустым вонючим костям и глотая холодный песок в пересохшем русле. Потом успокаивались и они, лежали, растворялись в белом солнце и буром песке. От когда-то размеренного уютного мира не осталось ничего. И Павлу было грустно слушать о том, что животные ничем не лучше людей, что они тоже бросаются пожирать друг друга, помогая пришедшей Смерти. Он оставил чуть окрепшую ящерицу в одном подходящем месте. Когда уходил, бедняжка потрясённо рассматривала колючие травинки. Ей было странно, что когда вся её трава погибла, где-то ещё, оказывается, росла совершенно такая же.

А Павел шёл всё дальше, и вот на его пути вместо песка всё чаще стали попадаться камни.

Как-то ещё одна ночь накрыла Павла. Он послушно лёг на камни, но лежать было неудобно, поэтому он сел и проспал до восхода сидя.

А на восходе пыльные шатры племени Бани Адам встали перед его проснувшимся взором. Из крайнего шатра вышел Лухкад, увидел Павла, сжимавшему в руках чашу, и закричал.

– Мой Бог вывел меня, – спокойно объяснил Павел кричащему от ужаса Лухкаду. Впервые за последние дни он вспомнил про Бога, и ему стало приятно.

– Его Бог привёл его, – объяснил Лухкад вышедшим на крик соплеменникам и показал на серую каменную чашу в руках Павла. Восхищённые кочевники тут же поклонились могущественному Богу чужестранца.

– Будь и к нам милостив, о Великий, – попросили они каменную чашу.

– Он ко всем милостив, – радостно сказал Павел. Бог снова возвысил и приблизил его. Снова из рабов в пастухи попал Павел и взирал на свою паству любящим взором.

.....

(Он прожил в племени три года.)

Глава шестая

После пустыни мир вокруг казался действительно чудом. Павел удивлялся, как это можно было ходить по траве, не восторгаясь её нежной лаской. Он встал на колени и принялся гладить жестковатые травинки. Чудо: каждая травинка остра – порезаться можно, а в пучке – мягкость, доверие. Казалось бы, трава она и есть трава: но сейчас тёплая, податливая под рукой, а склонится солнце, выпадет роса – обстегаёт холодом, так пронзительно, что слёзы шевельнуться где-то между бровями! Трава – из-под земли выходящая, солнцем и дождём кормящаяся – чудо?

И пчела, ворчливо собирающая мёд, – чудо. И лепесток яблоневый, опадающий медленно, весь ещё полный света и сладкого запаха, – чудо. Все деревья и травы, звери и птицы – чудо. И солнце, такое ласковое здесь, среди оливковых рощ и густого пряного неба – чудо.

Павел заплакал неудержимо, впервые после стольких месяцев жестокой пытки, заплакал счастливо, всхлипывая, как ребёнок. Как велик должен быть Господь, создавший всё это одной лишь силой творящего слова! Какой чудесной силой выплетались из хаоса и эти тончайшие лепестки, и эти грубые камни, не отесанные ещё дождями и ветром?

Что-то сухое и жёсткое резко ударило Павла в мокрую щеку, отскочило, оставив чувство саднящего неудобства. Хохот, улюлюканье, свист – камешки, куски земли и помёта посыпались со всех сторон. Вся окраина селенья, к которому вышел Павел, давно уже наблюдала за ним. Люди занимались своими делами, но то и дело бросали настороженные взгляды на больного оборванца, рыдающего, стоя на четвереньках, подобно псу. Косматый измождённый чужак был явно болен, и не будет никакого добра, кроме худа, если он подохнет сейчас на дороге, в виду всей деревни.

Взрослые не давали прямого указания мальчишкам отогнать пришельца, но и не мешали затеваемой забаве.

Камешки, куски земли и помёта не могли причинить Павлу серьёзного вреда, но в ход пошли уже палки, булыжники и глиняные черепки. Охотничий азарт подгонял мальчишечью свору, и маленькие мучители досадовали не на шутку, что жертва ведёт себя столь безучастно. Лохматое чучело, свалившееся у дороги, могло бы взвыть, закрутившись, как подбитая шавка. Могло бы заскулить, закрыв голову руками. А лучше – бросилось бы бежать, спотыкаясь и подскакивая от очередного меткого камня.

Но Павел просто лёг щекой на траву и лежал, молча смаргивая уставшими после слёз глазами.

Самый шустрый ребёнок выбежал вперёд всех и весело пнул оборванца в бок. Резкий крик со стороны деревни предостерег шалуна: мало ли какое зло таилось в этой подыхающей твари.

«По образу и подобию своему... По образу и подобию своему создал Ты человека». Таков ли Твой образ: бессмысленные сопливые рожи, изуродованные ишачим смехом? Реденькие гнилые зубки в воняющих пищей ртах? Или в тех, у деревни, различимо подобие Твоё? Может быть, в той толстомясой бабе, что с тупой важностью мочится за сараем, раскорячившись по-коровьи? Жёсткая струя выбивает грязные брызги ей на босые ноги, а слепни пристраиваются уже к белому, как незрелый сыр, оголённому заду.

Где ты, Господи? Как без Твоей любви пережить мне это отвращение к подобию Твоему, обгаженному веками? Видно, вправду близок конец

вре́мен – ливень, смывающий неудачу Творца. Огонь, что испепелит уродливые тела, не сохранившие искру божью.

Потемнела природа. Остыл воздух. Теплее стала земля. Людские детёныши разбежались, заскучав.

Беспривязные псы заинтересованно засновали рядом с Павлом, чуя поживу.

Кал пёсий. Пёсий кал у дороги – вот что я. Иудейский бог, Великий Господь отвернулся от меня, нерадивого, запоганенного в пустыне.

.....

Павел пробыл в Иерусалиме пятнадцать дней.

В один из вечеров к нему пришёл Пётр.

– Мир тебе, Павел, – сказал он слишком дружелюбно. Сел напротив.

– И тебе, – нехотя ответил Павел. Он не хотел сейчас видеть говорливого Кифу. Он вообще никого не хотел видеть.

– Эллинисты узнали, что ты вернулся в Иерусалим, – без предисловий выпалил Пётр.

– Ну и что?

– Они договорились убить тебя за то, что ты сделал тут три года назад.

– Пусть убивают, – пожал плечами Павел. – Это всё, что ты хотел мне сказать?

– Разве ты не боишься? – удивился Пётр.

– Чего?

Пётр смутился.

– Ну... Допустим, смерти...

– Нет.

– Боли?

Павел подумал.

– Нет.

– Ты что, обиделся на нас? – Пётр с любопытством заглянул Павлу в глаза.

– Нет.

– А всё-таки тебе лучше уехать, – решительно сказал Пётр. – Сам понимаешь, начнутся беспорядки, волнения. Римляне устроят расследование. А это значит – новые казни. Уезжай пока к себе в Тарс.

В Тарс? Нет, только не туда! Лучше чистить нужники в Иерусалиме, чем вернуться в богом забытый Тарс. Как обрадуется, как позлорадствует родимый городишко! Как будет кричать отец: долго, скучно. О загубленных надеждах, о выброшенных на ветер деньгах... Будет противно и неловко слушать его, смотреть в растерянные сердитые глаза, на трясущуюся потешно бородку. Мать отвернётся презрительно, молча... Хотя, что это он: мама, конечно, не отвернётся. Кто это сказал недавно, что матушка скончалась полгода назад? Бог знает...

Павел удивился сам себе: неужели я испугался? Сплетен, крика, презрения?! Пустого сотрясения воздуха, досужего чесания языков? Бред. Куда же ещё податься, как не в Тарс? Там тихо, спокойно, уютно. По большому счёту никому не до кого нет дела. Никто не визжит в синагоге, не спорит до драки из-за одного слова, не меряется бесконечно благочестием и мудростью. Люди беседуют мирно после трудового дня. Там каждый занимается своим делом. И он, Павел, будет неспешно кроить палатки – ремесло полезное, доброе.

– Хорошо, я уеду.

Действительно ли Павла собрались убить или это апостолы выдумали, чтобы прогнать его из Иерусалима – Бог знает... Надо уезжать. Нет смысла больше сидеть здесь. Всё суета и мерзость. Люди не хотят слышать о Боге. Они любят говорить о Боге, но никто не хочет слушать о нём. Ведь тогда придётся прислушаться к себе. И услышать, что вся жизнь твоя – пустой звон. Суета и мерзость.

Все хотят сладкого, а потом – остренького, а потом – проблеваться, и опять – сладкого.

Многие получают сладость от удовольствий, остальные – от чувства, что они лучше других.

Все хотят власти, даже ничтожные; получают её, над более ничтожными, но хотят больше, потом ещё больше, не понимая, что высшая власть – у Бога.

Павел устало закрыл глаза: как хорошо было бы никогда больше не видеть людей, нет ничего в мире более мерзкого, чем люди.

В дверь постучали.

Павел открыл глаза, не отозвался.

В дом зашёл Картафил, сапожник.

– Мир тебе, Савл, – сказал он.

Павел промолчал.

– Говорят, ты проповедуешь Иисуса Назарянина распятого...

Павел продолжал молчать.

– Расскажи мне о нём, – попросил сапожник.

– Мне нечего тебе сказать, – ответил Павел. – Иди к назореям, иди спроси у Симона-Кифы, у Иакова, брата Господня. Они расскажут тебе, они видели его, говорили с ним, они всё знают.

Сапожник замялся:

– Они не будут говорить со мной, они гонят меня.

– Почему?

– Ну, понимаешь... Три года назад это было, на Пасху. – Картафил заторопился объяснить, пока Павел слушал его. – Человек этот... преступник обычный, шваль, каких полно, убийца или насильник. Его вели на казнь мимо моего дома. Я нарядился ради праздника, вышел... А тут он – вонючий, избитый, весь в крови... Морда страшная, исцарапанная вся – ему колючки на голову нацепили... Волочит он свой позорный крест, и вдруг прямо ко мне...

– Зачем? – спросил Павел.

Сапожник смутился.

– Я не понял. Наверное, он просил пить... или нет... Он говорил слишком тихо, я не понял... Я, конечно, прогнал его. А как иначе? Он ведь бандит, смертник, помои человеческие – его ведь вели казнить, надо думать, за дело... Конечно, я прогнал его! А потом я услышал о нем на базаре... И еще слышал, часто. Говорят, будто он пророк, чудотворец, чуть ли не мессия... А я ведь его даже не ударил, толкнул только... Понимаешь, я его просто оттолкнул, оттолкнул, а не ударил, как говорят эти...

– Кто?

– Ну, назореи. Они зовут меня Бутадеус – «ударивший бога». Они говорят, что этот человек – Бог.

– Ну а ты что думаешь? – спросил Павел.

– Не знаю, – занервничал сапожник. – С виду, конечно, никак не скажешь... Но иногда мне кажется, что он не совсем обычный человек.

– Почему тебе так кажется?

– Тоскую я, – тихо признался Картафил. – С тех самых пор и тоскую, как оттолкнул его. В груди что-то взяло... – сапожник сгреб пятерней рубаху на груди, – и крутит, и крутит... – сапожник показал как у него крутит в груди. – Я тоскую.

Павел ничего не ответил, и сапожник добавил неуверенно:

– Ещё... Ещё иногда я думаю, что... Это, наверное, глупо... Я сильный, красивый мужчина, хороший мастер, у меня много клиентов, я отдаю хорошую пошлину в храм – Господь щедр ко мне. А тот – нищий преступник, он шёл на смерть... Но иногда я думаю, что Господь любит больше его, чем меня.

Павел кивнул.

– Ты понимаешь, что так оно и есть?

– Да, но не понимаю, почему.

Павел не ответил сразу. Помолчав, тихо сказал:

– Нет, он не бог.

– Да? – обрадовался сапожник.

– Он – бессмертный.

Картафил непонимающе улыбнулся.

– Он казнён, умер, но победил смерть, – объяснил Павел. – Он теперь будет жить вечно. Не веришь, что это возможно? – сапожник не верил. – Избранные могут так, некоторые. Некоторые бессмертны, веришь? Они не цепляются за жизнь, не жалеют, не собирают как скряги каждый день, каждый лишний час жизни. Они умеют жертвовать жизнью, ради других. И за это получают бессмертие. Это высшая награда, высшее благословение для человека – заслужить бессмертие за дела свои. Понимаешь?

Его собеседник недоумённо пожал плечами.

Павел неожиданно встал.

– Хорошо, я крещу тебя, Картафил. – Взял сапожника за руку, приложил его руку к его же груди. – Чувствуешь здесь?

– Да.

– Что?

– Болит.

– Это болит твоя душа, жаждущая бессмертия. Это она привела тебя сюда. Тебе повезло, Картафил, что ты встретил тогда Его. Теперь и ты сможешь победить смерть.

– Зачем? – испугался Картафил. – Я не хочу.

– Уходя от смерти, ты приходишь к любви, – терпеливо объяснил Павел. – Ты же сам тоскуешь, что Господь не любит тебя.

Сапожник кивнул.

– Смотри, – Павел провёл рукой по груди Картафила горизонтальную черту. – Это – твоя земная, телесная природа. А теперь, смотри, – он, обмакнув пальцы в чашу с водой, прочертил невидимую линию ото лба сапожника к поясу. – Это твоя духовная природа, идущая сверху, от Бога. Она перечёркивает земную. – Апостол быстро обозначил перечёркнутую земную природу на груди своего крестника. – Понял? Вот знак креста – вертикальная линия зачёркивает горизонтальную. Дух торжествует над плотью. Смерть побеждается любовью. Понял? А вода очищает тебя для новой жизни, смывает грязь, накопленную прежней. Та жизнь кончилась. Теперь у тебя всё другое. Ты сам другой. И имя твоё отныне не Картафил, а... – Павел запнулся. – Какое ты хочешь имя?

Сапожник задумался. Робко предложил:

– Иосиф?

– Хорошо, встань, Иосиф. Теперь ты умер для смерти и воскрес для любви.

Они помолчали, глядя друг на друга.

– Тебе стало легче? – спросил Павел.

– Пока не знаю.

Иосиф похлопал глазами, прислушиваясь к себе. Вздохнул тяжело, вышел на улицу.

Павел встревоженно двинулся следом.

Сапожник отошёл от дома на несколько шагов, остановился. Стоял, грустно глядя на закат.

– Прости, но я всё равно тоскую, – признался он через несколько минут. Оглянулся, виновато посмотрел на Павла.

– Почему? Ты не чувствуешь любви? – Павел удивился. Сам он сейчас отчаянно любил этого растерянного человека, искренне желая помочь ему.

– Нет, любовь я чувствую, но... – Вздохнув, Иосиф медленно двинулся к дороге.

– Ты будешь жить вечно! – ободряюще крикнул ему в спину Павел.

Иосиф не обернулся. Проворчал только недовольно:

– Зачем мне жить вечно? Я же не избранный. Я ничего не сделал такого... я только оттолкнул его, всего лишь оттолкнул... Зачем?..

– Вот ведь, – усмехнулся про себя Павел, – вот он, еврей – вечно недовольный, вечно ноющий. Вечный и неизменный со времён Авраамовых. Вечный жид – ни себе не даёт покоя, ни другим.

Сапожник Иосиф, бывший Картафил, человек, ударивший Бога, брёл по дороге прочь от заходящего солнца.

А палаточник Савл, он же Павел, человек, увидевший воскресшего Бога, ушёл пешком в Тарс. И оставался там четырнадцать лет, шил палатки и беседовал с людьми. Люди приходили к нему, когда им было плохо или тревожно, и он помогал разговором, часто ссылаясь на слова Иешуа-бен-Пандеры, Христа, распятого в Иерусалиме, которого Павел встретил потом по дороге в Дамаск.

Он любил людей и лечил их словом любви. А когда они, желая польстить, восхваляли его учёность, он отвечал обычно так:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».

Люди не понимали смысла этих слов, но им было приятно, и они улыбались.